

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ

## ЗВЕЗДА И КРЕСТ

РОМАН

### 15. Антиохия. В год консульства императора Лициния Валериана II и Эгнация Луцилла (265 год)

Губастая служанка-нубийка Ашпет примчалась ни свет, ни заря в опочивальню Иустины, от волнения запинаясь и всхлипывая поминутно:

— Пала вся до единой отара овец. А буйволицы... Это ужасно! Сами взгляните!

В просторном хлеву на окраине поместья — тишь и грусть небывалые. Семь десятков овец поверх соломы в своих стойлах лежат неподвижно. Уже окоченели. Глаза их стеклянны, мертвы. Ни кровинки. Ни сопровождающей всякую смерть грязи, ни испражнений. Словно окобели во сне разом. И старые, и молодые. Семь буйволиц цвета мокрого сирийского асфальта стояли в стойлах смиренно, прожёвывая подвядший силос, что набросала им с вечера Ашпет. Но стоило служанке подставить под вымя одной из них, по имени Чернушка, подойник, надавить крепкими своими пальцами на тугой сосок, как вместо белоснежного, с кремовым отливом молока хлынула струя алой крови.

— Проклятие! — в ужасе закричала девушка, оттолкнув от себя кровавый подойник. — Проклятие на всех нас!

На обратном пути из хлева Иустина нечаянно обратила внимание на старые смоковницы и несколько древних олив, кормивших не одно поколение их славного рода. Кора их потрескалась в нескольких местах и обнажила желтоватую, подобно человеческой кости, сердцевину, источающую сладкую влагу древесного сока, к которой уже присосались сонмы прожорливых насекомых. Листья дерев поникли. Дряблыми тряпицами свисали с ветвей. От зарослей дикой ежевики возле обезглавленной статуи Аполлона мимо фруктовых деревьев тянулась мельтешащая нить муравьиной тропы, которую Иустина прежде не замечала, а теперь увидела, что направляется она прямо к господскому дому, к окну маминой спальни. Опрометью помчалась туда с невятным ещё предчувствием в сердце.

Болящая Клеодония уже несколько месяцев не вставала со своего ложа. Даже к ночному горшку поднималась при поддержке сразу двух служанок. Но одна из них с рассвета управлялась с дохлым и болящим скотом, а другая отправилась на базар за провизией. Муравьиная тропка доходила до материнского ложа и заканчивалась на нём. Сотни насекомых ползали по открытым рукам Клеодонии, по шее её и лицу, норовя проникнуть в сомкнутые в ужасе глаза, рот, ноздри и уши несчастной обездвиженной женщины. При виде

шевелившегося беспрестанно рыжего платя на теле матери Иустина вскрикнула, но тут же, осенив себя крестным знамением, поспешила на помощь. Перетряхнула её одеяла, простыни, подушки, смела опахалом полчища насекомых прямо на пол, очистив от них ложе Клеодонии, и тут же принялась разбрызгивать повсюду оливковое масло, по счастью, нашедшееся в опочивальне. Потом, когда муравьи вроде бы отступили, сбегала на кухню и воротилась оттуда с корзиной, из которой торчали связки чеснока, стебли сухой полыни, мешочки со жгучим перцем. Поминутно чихая, рассыпала алую пыль перца. Надавила сандалией чеснока и тоже раскидала по полу. Ветви полыни устроила на базальте оконных проёмов, на материнском одеяле. Клеодония между тем оправилась от пережитого нашествия и глядела на дочь испуганно, каждое движение её сопровождая настороженным старческим взглядом, словно это по её вине напали на неё, старуху, рыжие муравьи. Тут и обе служанки подоспели. Вновь восклицали и вновь поминали проклятие. Кажется, они были правы.

Привезённая с рынка зелень, несколько мин спелых яблок и груш, очутившись на кухне, тут же подёрнулись гнилью, а свежайший сом, выловленный минушей ночью в мутных водах Оронта, смердел и разлагался, как будто пролежал под солнцем несколько дней. Да ладно бы рыба! Уколовшаяся по неосторожности в хлеву Ашпет показала Иустине свою чёрную руку, которая воспалённо раздулась, норовя прорваться потоками зловонного гноя. Другая служанка, Салим, покрывалась всё гуще алыми пятнами по открытым рукам, по шее, по лицу, не чувствуя боли, но страшась происходящего с ней, а точнее, необъяснимости происходящего. Через час она слегла в своей каморке, объятая жаром. Испарина выступила на лбу девушки. Зубы стучали. И ни верблюжье покрывало, ни диплакс из шерсти ангорских коз не могли её обогреть. Той же ночью она скончалась.

Всю-то ночь простояла коленапреклоненно Иустина на молитве. Костями вросла в мраморный пол. Позвоночник её и поясницу ломило отчаянно, а на лбу, которым она то и дело касалась хладного мрамора, проявилась тёмная гематома. Самодельное распятие, вырезанное отцом из ливанского дуба, под которым беседовал с учениками Христос, и вереница масляных лампад — вот и всё, что видела она перед собой пять часов кряду. Но взором мысленным — совсем иное.

Дух её устремлялся к Господу. И вскоре почувствовала ответную благодать, что не имела физического свойства, но была свойства именно духовного, поскольку согревала, окружала неземной негой, спокойствием и радостью тихой. Иустина любила это состояние единения со Христом, это волшебное торжество духа, которое несравнимо было с повседневной брэнностью жизни, пусть исполненной плотских радостей. Это чувство сложно было высказать бедной человеческой речью, но только словами молитвенными, в которых присутствовал и иной ритм, и иной слог, а сами слова проникались священной, мистической силой. Только они, словно крылья чудесные, помогали унести душу в Царствие Небесное. И только они позволяли держать невидимую, неуловимую связь со Спасителем, доносить до Него самые потаённые мысли и просьбы. Связь эта была тоньше паутины. Держать её стоило невероятных усилий, поскольку тишайший шорох палой листвы за окном или любая сторонняя мысль могли её оборвать. Вот тогда-то осенним ливнем захлёстывали душу всевозможные измышления и образы, вполне благочестивые и священные, но по сути бывшие ничем иным, как соблазном и искушением. Иустина за годы молитвенного восхождения научилась следовать евангельским поучениям, завещающим: *“Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе”*<sup>1</sup>. В начале трудного этого восхождения она молилась только устами, молитва была поверхностна и слаба. Затем обучилась умной молитве, что присовокупляет к словам ещё и рассудок. Но и эта молитва чаще не достигала благодатной связи с Господом. И лишь когда к этим двум молитвам присоединился сердечный трепет, тогда и наступило молитвенное блаженство. От священников и епископов, слышавших самих апостолов, Иустина знала, что есть ещё и молитва

самодвижущаяся, о которой апостол Павел говорил: “*непрестанно моли-тись*”<sup>2</sup>, когда происходит она в душе твоей сама по себе и даже как бы от души твоей независимо: и во время беседы, за трапезой, и во сне. Следом — молитва видящая, способная внутренним взором созерцать иные души в их земном и даже посмертном воплощении. Молитва восхищения, о которой лишь иногда вспоминали праведники, уносила человеческий разум в чертоги небесные, воспаляя лицо и руки нестерпимым огнём. Однако вершиной молитвенного роста считалась молитва духовная. Мало кто встречал людей, способных на такой подвиг. Ибо в этой молитве ум человека не движется своими силами, но бывает взят силой Духа Святого и отведён в небесную славу и уже не может думать о том, о чём хочет. Ум человека ведётся к великим откровениям в ад, на небо — куда хочет привести его Дух Святой. И человек этот пребывает в великих откровениях, и когда возвращается в своё обычное состояние, то не знает, был ли он в теле или вне тела. Ибо это непостижимо разуму его, и сердце с душой не могут вместить такого единения с Господом. Такой великой любви и покрова.

Иустине, впрочем, до такого молитвенного состояния было ох как далеко. Но видела и различала души людей уже ясно. Вот и сейчас, по прошествии нескольких часов непрерывного богообщения, зрела она и терзаемую бесами душу Аглаида, что метался по комнатам богатого своего дома в слезах и ярости, в греховных помыслах и с жаждой отмщения в сердце. Видела она и прекрасного чародея Киприана. Душа его пылала геенной огненной. Слезилась расплавленной серой. Взывалась неистово. И тёмные бесовские сонмы взывались вместе с ней, злобно рыча, отчаянно взвизгивая. Сонмы эти, почувствовала Иустина, отправлены к её дому, и к домам соседей её, и в целый город, чтобы сгубить его в отмщение за неуступчивость невесты Христовой. За веру её негибаемую. “Слаба вера твоя, — будто слышался ей даже чародея голос, — если позволишь стинуть обитателям града сего в награду за собственную невинность”.

Очнулась она распостёртой на мраморе лишь под утро. Угасли голубоватыми облачками лампы. Мелкий дождь разбивался брызгами о базальтовый переплёт окна. Поднялась. Поправила колкую власяницу. Приблизилась к окну. Тучи кудлатые заволокли небо от края до края. Клубились небесным варевом, наполнились сперва пепельным, а скоро и сажевым мороком. Наливались им густо. Опускаясь к земле и к граду всё ниже и тяжелей. Скоро и капли дождевые бременем свинцовым налились. Бились о базальт гулко, размашисто, волгло. Россыпь брызг орошала студёной прохладой теперь и горницу, и лицо Иустины, что, укрывши голову простой накидкой, обеспокоенно взирала в окно.

А дождь тем временем крепчал. Хляби небесные отверзлись во всю свою бездонную ширь. Низринутись к земле даже не реки — моря! Мутные лужи в саду становились все шире, а ручьи всё звонче и быстрее. Рушились с черепичной крыши, мчали потоками бурными через сад, и в овраг, и на улицу, где совокуплялись с другими ручьями и лужами, полнели, обретали сокрушающую силу, чтобы пробиться дальше, любую преграду снести. Сквозь грохот ливня слышался вдалеке визг домашних животных, а поблизости — крики людей, шум осыпающихся камней и рушащихся глинобитных построек. Вслед за ливнем поначалу редко, а затем всё стройнее и чаще застучали ледяные сгустки града. Да какого крупного! Никогда прежде не видала ни Иустина, ни домочадцы её, ни другие жители Антиохии подобного! Размером с куриное яйцо, врезался он, чавкая, в раскисшую землю, в кипящие струи мутной воды, с грохотом барабанным — в обожжённую кровельную черепицу. Ударами смертоносными секло старые смоквы. Исполинские эвкалипты и платаны шумно роняли ветви и скошенное тряпье листья. Несколько пеликанов и стайка фламинго так и остались плавать в городском пруду безжизненным, обезображенным вретисцем. Да и сам переполненный мелкими ручьями пруд вышел из берегов. Грузным валом, мстившим в себя городской мусор, потоки грязи, оскопленные ветви деревьев, осколки битой посуды, насытившимся подножным этим кормом, от земли и песка отяжелевший, мчался он по улицам Антиохии, сметая на своём пути всё и вся. Гомонливый

и в безветренный день Оронт словно осатанел. Два притока его, в обычное время едва живые — Фирмин и Пармений, полнили бурную стремнину брата своего старшего, отчего Оронт двинул ещё быстрее, ещё шире раздался, унося за собой к морю углые лодки рыбаков, с грохотом сметая деревянные колеса водяных мельниц, лачуги паромщиков, всё, что населяло либо лишь временно притулилось на пологих его берегах.

Через час воды рек, воды прудов и воды неба сомкнулись. Кара потопа обрушилась на Антиохию. Со страхом и самодвижущейся молитвой о спасении града и жителей его глядела Иустина, как потоки воды и грязи сносят глиняные горшки, ломают кусты герани и вереска, как рушится деревянный хлев, а мёртвых и живых ещё обитателей его уносит беспощадным потоком вниз, к краю оврага. Слушала, как обречённо кричат буйволицы. Как неутешно голосит Ашпет. Крики людей и животных то и дело глушит громовыми раскатами, такими пронзительными, что кажется, будто небо рвётся в клоки, будто рушатся светила небесные. Молний всполохи совсем рядом. А на сажевом горизонте вспыхивают вовсе без остановки. Спят глаза, разрывая небесную твердь до самой земли кривыми трещинами. Одна из таких шальных молний с треском ударила в старую оливу посреди сада. Расколола её вдоль ствола пополам. Ярким пламенем обволокла. Оливе той было не меньше пятисот лет. Но и по сей день давала она плоды, пережив не только сеятеля своего, но и несколько поколений его потомков. И вдруг — в одно мгновение была убита. Так и стояла — по пояе в бурной воде. Дымящаяся. Расколота. Пылающая огнём небесным. Так и смотрела на гибель её зачарованно Иустина. И молилась, молилась без устали.

К исходу второго дня ливень начал понемногу стихать. Смыкались хлеба. Яснел горизонт. Уносило прочь кудлатые тучи, и совсем скоро их почти не осталось. Лишь несколько грозových облаков, аки заплутавшие овны, ещё металась по небу, орошая земную плоть последними каплями вымученной влаги. Мутные потоки взбеленившихся вод всё ещё неслись по улицам Антиохии. Прудились в закоулках. Рушили шумно последние городские преграды. Чувствовалось, однако, что и их исполинская сила слабеет. А вскоре забрезжило солнце.

Вода уходила из города медленно. Впитывалась землёй. Исыхала в песчаных дюнах. Пожиралась ненасытной рекой. Под жаркими лучами светила испарялась, чтобы наполнить влагой новые облака. Уходила вода, оставляя за собой разруху и скорбь. Разлапистые тулова порушенных деревьев и целые завалы поломанных ветвей, перегородившие улицы подобием дамб. Распухшие трупы овец, кроликов, коз и даже волов повсюду, особенно в окрестностях агоры, куда их накануне свезли на продажу. От солнца раздувались они ещё больше, отравляя воздух зловонием разлагающейся плоти. А кое-где и люди — в разодранных одеяниях, с залившимися, раздувшимися лицами. Захлебнулись. Задохнулись в подвалах затопленных. Раздавлены постройками и стволами деревьев. Молниями растерзаны. Те, что выжили, но лишились пристанища, теперь бродили отрешённо по улицам и паркам города, ища пропитания. А оно встречалось повсюду. Мешки грецких орехов. Влажные поклажи фасоли, яблок, сушёных абрикосов. Глиняные фляги ячменя, который хоть и промок, но высушить его на солнце ничего не стоит. Вслед за бездомными потянулись на улицы мародёры. Им хорошо были известны склады богатых торговцев, а также мастерские золотых и серебряных дел мастеров, оставшиеся на время без всякой охраны. По колено в жидкой грязи, снаряжённые тяжёлыми топорами, сбивали ими запоры, потрошили поспешно грузные лари, сундуки из ливанского кедра в поисках припрятанного добра, крушили древние греческие амфоры. А там и до разбоя недалеко. В домах, возле которых не суетилась прислуга, расчищающая дружно завалы, смывая с мрамора грязь, а стало быть, вынужденно или добровольно покинутых, той же ночью взламывались двери и лихой народ обчищал такое бесхозное жилище за считанные часы. Бывало, что хозяин возвращался внезапно. Или хоронился в глубине дома в ожидании конца света. Такого могли и убить.

Целую неделю после потопа дымили над Антиохией погребальные кострища, разведённые не только на трёх городских *устринах*<sup>3</sup>, но и буквально

повсюду, прежде всего для того, чтобы сжечь павший скот. Но, видать, и этого очистительного огня городу не хватило, к тому же мёртвых даже спустя неделю не всех из-под грязи откопали. Начался мор.

Чёрный мор быстрее птиц небесных носился теперь по городу, поражая нутряным огнём и старого, и молодого. Люди сгорали в мучениях. Поначалу изводила их лихорадка, от которой пот стекает ручьями, зубы стучат, горит тело. Криком кричали, а те, кто и стонать уже не мог, хрипло дышали да молча бились в судорогах непрерывных. Вскоре язык болящих покрывался чёрным налётом, иссыхал, валялся набок изо рта. Чернела кровь, которой то и дело харкали в тряпицы. Становилась чёрной даже урина, коей они в бессилии мочились под себя. Тёмные пятна и петехии пурпурные покрывали тела. В паху и под мышками зрели отравленные гноем карбункулы. Наливались воспалённой лимфой бубоны. Люди сгорали настолько скоро, что родня даже не успевала осмыслить, а уж тем более предотвратить напасть. И чаще всего сама становилась жертвой заразы. В те дни на улицах города можно было увидеть высохших женщин с воспалёнными грудями и почерневшими трупами младенцев на руках. Сильных юношей, извергающих из себя фонтаны тёмной крови. Обугленных старцев, в одиночестве бредущих на кладбище, чтобы своими похоронами не досаждать близким. И вновь вспыхнули погребальные костры на городских устринах. Чёрная смерть пришла в Антиохию, как то предсказала Книга царств: *“И те, которые были живы и не умерли, поражены были на седалищах, и вопль города взшёл до небес”*<sup>4</sup>.

На девятый день мора и сама Иустина заметила чуть выше запястья правой руки тёмное пятнышко. А к вечеру её уже терзал пустынный жар и озноб ледяной. Силы, словно вода из треснувшей амфоры, истекали из неё поспешно, покуда не кончились вовсе. На что уж Клеодония передвигалась едва, но и та, прознав про скоротечный недуг единственной дочери, приползла в её опочивальню. Опустилась на колени перед ложем умирающей дочери со слезами. Девушка дышала настолько прерывисто, будто каждый её вдох был последним. Но вдруг открыла глаза. Оборотилась к заливающейся слезами матери и едва слышно произнесла: *“Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни”*<sup>5</sup>.

По-сказанному всё и случилось. Утром она пошла на поправку. С того дня мор обходил дом Иустины стороной по молитвам её неустанным. Но ещё и потому, конечно, что всей семьёй и с прислугою как бы ушли в затвор. Поместья пределов не покидали. Неделю жили на собственных запасах и заготовках. Воду кипятили на очаге. Жилые комнаты по несколько раз на дню окуривали дикой польнью, лавром и ладаном. Ну, и двери на запоре держали.

Но в них постучали. Поздним вечером, после службы, которую Иустина теперь сама и вела, и выстаивала в окружении прислуги в домашнем своём, от сторонних глаз утаённом храме. Постучали сначала негромко, с некоторым даже извинением. Затем настойчивее, злее. А уж потом и вовсе без всякого уважения, ногами, да железом, да возмущёнными кулаками без разбора. Иустина дверь открывать всё же не стала. Вышла на балкон.

Внизу, освещённые мерцающим светом десятка факелов, стояли знатные горожане, новый понтифик, которого прислали из Рима несколько недель тому назад, несколько легионеров с копьями и, к удивлению Иустины, дьякон Феликс, который в прежние времена сторонился городских властей, посадивших ему притеснениями. Но тут вдруг к ним примкнувший. Он-то первым девушку и заметил. Поклонился ей до земли. Молвил:

— Не только мы, Иустина, весь наш народ в скорби пребывает. Глаза наши слепнут от слёз. Гортань от криков иссохла. Одежды наши почернели от копоти погребальных костров. А руки устали копать могилы. Ведаем, что беды эти снизошли на нас по злой бесовской воле. Князем тьмы ниспосланы на нас.

— С князем тьмы не знаюсь, — прервала его Иустина. — Скорблю вместе с вами. Но не причастна к этой беде.

— Ведаем и то, — выступил вперед новый понтифик, грузный семидесятилетний старик с одышкой и красным апоплексическим лицом, — что

беды наши наступили после того, как отказала ты в чувствах юноше Аглаиду, чем и огорчила наших богов. Да ещё возмутила великого жреца и кудесника Киприана, каковой грозитесь теперь уничтожить и город сей, и всех его граждан. Молим тебя нижайше, почтеннейшая Иустина, выходи замуж за Аглаида. Смирись пред Киприаном-кудесником.

— Они не мои боги, — решительно ответила девушка, глядя прямо в глаза понтифику. — Мой Бог не сотворит зла и обиды не держит. Он любит и спасает. Он и юношу Аглаида однажды спасёт, если тот решится покаяться в содеянном зле. И кудесника Киприана вразумит да от злых его чар сбережёт. Что до меня, то я буду ещё усерднее молиться за вас, и за наш город, и всех жителей его. И ты, Феликс, молись. И вы, граждане Антиохии, молитесь, чтобы уже при жизни вашей узреть силу и славу Господа нашего Иисуса Христа.

### **Кондак 8**

Странное чудо является притекающим к тебе с верою, священномучениче Киприане, ибо данною тебе от Бога благодатию изгоняти духи нечистыя, мучающа человека, бесы изгоняются, больные изцеляются и поют Богу: Аллилуиа.

### **Икос 8**

Всем сердцем предался еси Богу и всею душою возлюбил еси Его, все твое тщание и желание направляя во еже исполнити волю Его, ты же, яко пастырь добрый, не отринул еси бедами отягченных; но предстательствуещи в молитвах пред Господом, даруя исцеления и утешение. Мы же, восхваляюще любовь твою к Богу, взываем ти сице: Радуйся, всем сердцем Христа возлюбивый; Радуйся, добродетельми преисполненный. Радуйся, недугующим и расслабленным поможение; Радуйся, в скорбех и печалех утешение. Радуйся, наветов и искушений, от мира, плоти и диавола находящих, прогонителю; Радуйся, всех болезней душевных и телесных исцелителю. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **16. Москва. Май 1983 года — апрель 1985 года**

Мама примчалась в госпиталь, как только узнала в военкомате о страшном ранении сына. Первым же поездом. Проходящим. С сумочкой старой, лаковой, какую Сашка помнил ещё с пацанских своих времён, потому как тайком рылся в ней в поисках карамельки-леденца, а находил флакончики духов, губную помаду в железной блестящей гильзе, дамские перчатки, платки, чеки из магазинов, квитанции и жировки. Но иногда и кульки конфет, от сладкоежки упрятанные.

Теперь эта сумка стояла возле его тумбочки, и мама сидела рядом, не смея не то что обнять, но и прикоснуться к сыну, понимая, какие страдания вызывает даже голос её. Ну, хоть взглянула на раздавленную свою кровиночку. Утешилась, что жив. Отрыдала в госпитальном коридоре да уехала обратно домой, не в силах хоть чем-то помочь.

Вернулась вновь, когда Сашка осваивал первые свои протезы. Но и тогда надолго не задержалась. Хотя, конечно, на сей раз долгонько толковали, устроившись на скамейке в парке под чёрной дуплистой липой. Про войну. Про ранение и лечение. Про отца покойного. Ну и, естественно, про грядущее житиё.

— Вот выпишут, — мечтала мама, — вернёшься домой. Я тебя откормлю. Работать устроишься. Инвалидам войны теперь помогают. Не то, что прежде. В мастерские какие. Или на картонажную фабрику. А там, глядишь, и девушка хорошая сыщется. И ребятишек Господь пошлёт. Тебя ведь там-то не задело?

— Не задело, — краснел Сашка, а сам представлял себе унылую эту жизнь в родном Шадринске. Представлял картонажную фабрику, где он

с другими инвалидами клеит коробки, а после работы идёт с ними в пивную на углу Ленина и Карла Либкнехта, врёт про войну, плачет, песни жалостливые поёт да тут же в бурьяне возле пивной и засыпает. И это жизнь? Ради этого появился на свет? Учился летать. Воевал. Убивался и других убивал. Терял друзей и собственного отца. Ноги собственные. Ради этого учиться вновь ходить? Дышать. Восхищаться. Любить. Ради того, чтоб остаток жизни посвятить клейке картонных коробок? Чтоб жрать домашние пироги? Огорчился Сашка материнскими мечтаниями и планы её на дальнейшее его житиё решительно отверг.

— Прости, мама, но я не вернусь в Шадринск, — сказал он ей тут же, на скамеечке под чёрной липой, — и на фабрику не пойду. Я советский офицер. В армии останусь.

— Не смей меня, — как-то по-чужому и недобро ответила мама. — По всем законам тебя просто обязаны комиссовать.

— А вот это мы ещё поглядим, — огрызнулся Сашка, понимая вдруг, что жизнь его в эту самую секунду обретает совсем иной смысл и предназначение.

Рапорта его в министерство обороны уже со следующей недели уходили регулярно. Поначалу в управление кадров, а затем и на имя самого министра, маршала и героя. Рапортовал Сашка начальству своему высокому о том, что после тяжёлого ранения освоился ходить и даже бегать на протезах, что службе в Вооружённых силах СССР его увечье не помешает, больше того, послужит хорошим примером другим солдатам и офицерам. Поминал и Маресьева, которого бюрократы от армии тоже ведь не пускали на фронт, но опозорились, как известно, поскольку тот и на протезах нащёлкал больше вражеских самолётов, чем до ампутации. В заключение каждого рапорта просил из армии не комиссовать и как можно скорее вновь отправить в Афганистан для исполнения интернационального долга.

Не ведал Сашка и даже предположить не мог, что рапорта его, написанные убористым наклонным почерком не выше тетрадной клеточки, дошли таки до маршала и героя, прочитаны были со вниманием, личное его дело поднято и изучено и — вот ведь чудо какое! — высочайшая резолюция была прикреплена, суть которой проста и всякому понятна: из армии не увольнять, на войну не пущать, направить в академию.

Приказы, как известно, не обсуждаются. А маршальские — тем более. Пришла пора Сашке из госпиталя выписываться и прописываться в академической общаге, расположившейся на московской окраине, в посёлке Монино.

Но за неделю, быть может, до выписки подкатил к нему Лель Вальтерович с неожиданной просьбой. Поднять боевой двух безногих пареньков, прибывших накануне из Кундуза. Мол, расклеились совсем ребятишки. Рвут зубами бинты. Рыдают. Норовят из окошка на асфальт сигануть. Отстегнул Сашка протезы. Водрузился в коляску инвалидную королём. Да поехал к паренькам на свидание.

Оказались ребятушки почти земляками. Один из Каргаполя, другой из Катайска. Под одеялами казёнными упрятались. Подвывают себе тихонечко, по-щенячьи. Видать, все слёзы уже выплакали. Ничего внутри, кроме болячки саднящей, пустоты необъятной у них не осталось. Сашке все эти чувства знакомы. Понятно и то, что болячки со временем зарастут, а пустота развеется. Нужно только цель обрести. И надежду.

Балакал он по-первости пустым стенам. Бойцы на слова его даже не откликались. Потом посылать стали. Да столь дружно, что Сашка тут же прикинул: этих долго упрашивать не придётся. Обретут жизненный смысл в самое ближайшее время. После слушали его со вниманием, когда такой же, как и сами они, обрубьш сочинял им про девушку Антонину, что ждёт его в Шадринске хоть и безногого, да любимого. Когда вещал про достижения протезной промышленности, создающей такие конечности, что от настоящих не отличить. Про пособия и льготы, коими награждает героев родная советская власть. Выходило, что без ног человеку даже сподручнее. Ну, прямо как в той народной частушке: “Хорошо тому живётся, у кого одна нога! И штанину экономишь, и не нужно сапога”. Буквально через несколько дней

таких разговоров ампутантов уже и не узнать. Цугом носятся за Сашкой на колясках: в курилку, в лифт да на улицу. Рубают госпитальную баланду от пуза. Мордами розовеют. И даже попытались прижать в коридорных изгибах младший медицинский персонал. Завершающим аккордом воспитательной этой работы стали вновь пристёгнутые протезы. Надраенные до глянцевого блеска полуботинки. Отутюженный парадный мундир со всеми Сашкиными наградами, золотом пуговиц, капитанских звёзд на погонах, шевроном ВВС на плече и тяжёлой гирляндой аксельбанта, свисающей от плеча к пузу. В облачении этом гусарском завалился к своим подопечным словно ни в чём не бывало. “Мужики, я за пивом. Вам взять?”

Этот пронзительный майский день, когда Отечество в сороковой раз праздновало победу в Великой войне, он запомнил навечно. Просветлевшие вдруг лица парней, чьи глаза исполнились надеждой и верой. Хруст новой кожи под железной ступнёй. Солнца хлябь. Бездны лазури небесной. Маревно трепетное яблоневого да сливового цвета. Кровавые ало тюльпаны, что застилают в этот день городские клумбы и сады. А возле клумб — ветераны. Всего-то шестидесятилетние, по большей части пока что живые участники Отечественной войны. С орденами и медалями на пиджаках. С табличками самописными, модельными в руках, на которых — названия частей, подразделений, армий и фронтов. Ищущий взгляд. Песни под баян. Слёзы в кулак. Беленькой пузырьёк за пазухой. За сорок-то лет все ещё современники. Обычные люди в повседневности бытия. Но с каждым годом всё реже ряды, всё глубже вечность и пустота, перемальвающие человеческие жизни в историю, хоть и великую, но с годами меркнущую и даже изменяемую в угоду молодым, родства не помнящим поколениям. К началу века грядущего их останется и вовсе не больше десятка на всю страну. Да и те — сыновья полков, те, что воевать пришли в детском возрасте. Настоящих же воинов двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого годов рождения, тех, кто первыми уходил на фронт и кого война не выбила, добьёт равнодушное время.

Точно так же, как ветеранов войны нынешней, восточной, каковых и за ветеранов-то никто не считает. Ибо пока не закончилась эта война, пока ещё жрёт новых и новых солдат, живых ли, убитых — неважно, то и ветеранов этих не счесть, не понять, во что обойдётся государству их похороны и дальнейшая жизнь, каких поблажек достойны и достойны ли чего вообще?

Вот, стало быть, и не стоят они с табличками в руках с названиями для русского глаза чужими. Однополчан не ищут. Властью советской и ветеранами войны Великой не замечаемые и покуда не принимаемые. И День Победы — не их праздник.

Шагая на железных ногах по городу, исполненному воспоминаний о победах минувших, думал Сашка и о том, что в войне нынешней победы не будет. Что некого в ней побеждать. И завоевать невозможно. Да и нету в этой войне такого рейхстага, на котором возможно водрузить красное наше знамя взамен зелёного. И капитуляцию принимать.

Мысли эти горестные хоть и царапали душу, но скоро рассеивались подобно невидимой майской пылице. Дыму ветеранского табака.

В Военно-воздушную академию имени первого космонавта Гагарина приняли его, разумеется, безо всяких экзаменов. Проректор по воспитательной работе долго тряс раненую руку. Улыбался глупо, тараторя что-то несуразное про личный пример, доблесть и офицерскую честь, сам, естественно, мало в сказанном соображая. Однако же, дай Бог ему здоровья, выхлопотал для Сашки в общаге комнату на солнечной стороне. С видом на лес. На первом этаже, чтоб инвалиду подниматься не в тягость. Оформился Сашка на довольствие. Выправил отпускные. И с лёгким сердцем, как говорится, к маме на побывку. До конца августа.

В Шадринской неге, под покровом материнской любви и попечения, лето пронеслось незаметно. Часами сидел в горсаду, проглатывая без разбора всё, что находил в отцовской библиотеке: “Король Лир”, “Три сестры”, “История Рима от основания города” Тита Ливия, “Вино из одуванчиков” Рэя Бредбери, модного Аксёнова и “В окопах Сталинграда” Некрасова. Отыскал в глубинах берёзового книжного шкафа позади ровных книжных рядов



и ещё одну книгу, само существование которой в их доме уже вызывало слишком много вопросов. На зелёной её обложке тускло светился православный крест, а на толстом корешке тем же тусклым золотом значилось: “Библия”. И мама, и отец, и сам Сашка, и всё его окружение — сплошь народ воспитания атеистического. Так откуда же в доме зловерное это чтиво? И отчего от чужих глаз упрятано? Уж не читал ли его отец тайком? Раскрыл увесистую находку. А ведь и правда читал. Некоторые странички загнутыми уголками обозначены. Слова и даже целые предложения простым карандашом подчёркнуты. Странные слова. Сашкиному уму непонятные. Как эти, к примеру: “Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживёт, и отрасли от него выходить не перестанут: если и устарел в земле корень его, и пенёк его замер в пыли, но, лишь почуяло воду, оно даёт отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается; отошёл, и где он?”<sup>6</sup> Захлопнул Библию в недоумении. И вновь упрятал в тесное закрывашку.

Вдали от посторонних глаз, не по одному разу падая и поднимаясь, овладел Сашка заново старым своим “Уралом”. Поскрипывая цепью, педалями тугими, гонял вечерами на озеро, что на Красной Ниве (слишком уж заболочена, человеком загажена ближняя речка Исеть). Рассупонившись на песочке горячем, ходили в блаженстве отстегнув, ложились подле стоячей воды, зачарованно наблюдая, как зависают вертолётками над осокой стрекозы, как тычется, клюёт мошкарку плотвица шустрая, стрижи носятся над водой кругами и сельские девки в купальниках из нейлона сторожко входят в парную воду. Девки были ладные. Крутобёдрые. Возвращённые на парном молоке да материнской сдобе. Шла пора сенокоса, так что и стар, и млад — в полях. Трепать, сгребать в валы, стоговать. Дорослым после тяжкой работы ещё по хозяйству управиться. И только молодухам — смыть с себя труху, пот, волглые травы. Да жизни возрадоваться. Парной воде. Тихому летнему вечеру. Выходили из воды, словно нагие, — до того липко жалась мокрая ткань к упругим задкам и грудям. И удивлённо, а какие так и брезгливо глядели на безногого парня, что возлежал на песке возле поваленного велосипеда.

Нынешним летом редкие знакомства Сашки с женским полом, начинавшиеся обычным порядком: с подкатов, шуточек, анекдотов и замёрзших шариков пломбира в кафе, почти все терпели фиаско, едва лишь барышня узнавала об увечье потенциального кавалера. Барышни просто-напросто исчезали из его жизни. Столь же быстро, как и появлялись. И только одна из них, тридцатипятилетняя Виолетта Петровна, что трудилась на благодатной ниве общепита в кафе “Встреча”, уделила Сашке целую неделю драгоценного своего внимания. Сперва в самом кафе, подавая долговязому парню румынское вино и котлеты по-киевски, а затем и за пределами заведения, в одноэтажном домишке на улице, носящей гордое имя председателя Петроградского ЧК Моисея Урицкого. Домишко достался Виолетте Петровне в наследство от покойного папы, расстрелянного последователя Моисея Соломоновича за незаконные валютные операции в начале шестидесятых. Сама Виолетта Петровна последние лет двадцать находилась в неустанном поиске принца, да, как на зло, натыкалась на одних лишь уголовников, проходимцев и кобелей. Незадачу эту она объясняла спецификой своего труда и особенностями публики, проводящей время в общепите. Саня, сразу видать, был не из такихых. Вот и затащила в свою нору, увешанную страницами из японских календарей с красавицами в бикини, заставленную букетами усохших цветов, с цветным телевизором “Радуга” и холодильником с деликатесами. Посреди этого великолепия поила Сашку румынским вином, чешским пивом и водкой. Ломала пальцами жирные куски языковой колбасы и буженины. Грубо лезла пальцами этим Сашке в штаны. Потрошила она его, пьяного и невменяемого, почитай, до полуночи. Скакала верхом. Орала страшно. Пузырём пускала слюну. Да так и уснула, обрушившись всеми своими телесами на кавалера. Слово кто её подстрелил. Очнулся во мгле предрассветной. С раскальвающейся башкой. С храпящей голой бабой под боком. С настроением — гаже некуда. Дабы не тревожить чудовище, тихой сапой пристегнул протезы, портки натянул и, едва ступая по половицам пересохшим мимо

холодильника, телевизора и японок в бикини, выбрался, наконец, на волю. Вздыхнул взтяжку. Плюнул. Поспешил поскорей к родному гнезду, к маменькиному подолу. Встретил случайно Виолетту Петровну только через неделю с кульками ворованной из кафе жратвы. Расплылась раскрашенным кармином ртом. Подмигнула синюшным веком. “А ты хорош, инвалид! — проговорила, глядя на Сашку алчно. — Иным ногастым поучиться. Заходи, коль скучно станет!”

Но капитан и не думал скучать. Он молился, кому и как ещё не понимая, благодаря за то, что не послушался матери. Что умолил военное ведомство оставить его в строю, поступил в академию и скоро уедет из города своего детства и юности, быть может, навеки. Малая родина претила ему. Пахла Виолеттой Петровной. Духами её душными вперемешку с запахом буженины. Пыльные улицы Шадринска, раскалённый силикат кирпича, плавающий морок стоячего воздуха, в котором — ни птахи, только сухой шелест стрекоз. Несколько дней лежал на тахте в узенькой своей комнатке в добровольном затворе. Листал “Цветы зла”, Вийона и Аполлинера — диковинных французских поэтов — нетронутые книжечки, добытые в обмен на макулатуру. Давился приторным духом малинового варенья, что неустанно заготовляла на зиму мать. К еде и не притрагивался. И протезов не надевал. Пять пачек “Стюардессы” искурил. В мыслях тягостных о том, как сложится жизнь военного инвалида, нужен ли он кому-то на этом свете, кроме собственной матери, как-то вдруг духом пал, исхудал и лицом осунулся. Летний сплин, впрочем, продолжался, по счастью, не слишком долго. Та самая офицерская жила, что взращивается не один год войной лютой, уставом воинским, честью да совестью закаляется, пробудила от уныния, от сна душевного подняла.

Очнувшись от хандры, первым делом отправился в городскую баню, где добрых два часа парил, хлестал веником берёзовым, мылил, водицей студёной окатывал хоть и обрубленное, но все ж молодое и ладное мужицкое тело. Очищенный снаружи и, кажется, даже изнутри, облачился в парадный офицерский мундир, надраил ваксой летние полуботинки и, печатая железными ногами шаг, отправился к кладбищу. Возле ворот купил у сухой, как коряга, старухи целую охапку крупных садовых ромашек. В будний летний день на кладбище было благостно и даже уютно. Мирные птахи, восторженными гимнами приветствуя новый день, перелетали с оградок на кресты и памятники. Медовые ароматы левкоев, шиповника, золотых шаров и жасминов полнили стоячий расплавленный воздух. Стрекотали кузнечики на плитах могильных. Юркие ящерки выползали погреться на раскалённый гранит. Людей и вовсе не встретишь. Только замерла, словно и сама превратилась в памятник, потемневшая лицом женщина возле детской короткой могилы. Сашка мимо прошёл, по привычке печата шаг, но с каждым шагом ступая всё деликатнее и тише. Всё за перекрёстком возле старой липы и аллея почётных горожан. Скоро позабыл их народ. Предал забвению и подвиги их, и деяния. Если бы не богатые надгробные плиты, на которых часто помимо привычных цифр да имён указывались ещё и должности, и звания, какие человек заработал жизнью своей, то следующие поколения горожан героев этих и не вспомнили бы. И жизни их не поняли.

Отцовская могила радением вдовы и районного военкомата — в совершенном порядке. Чёрный гранит с позолоченным профилем папы и двумя “восьмёрками” над его головой вымыт и чист. Окружён лилейниками, розовыми метёлками астильбы, глянцевыми лопухами хосты. А за гранитом — плакучая ива, которую всё это время холила мать. Нежной листвою трогает, ласкает и гладит неприступный могильный гранит. “Как он там?” — подумал вдруг Сашка, представив в двух метрах под землёй цинковую домовину, какая и через сто лет не истлеет, не обратится в прах, а стало быть, не даст отцу соединиться с прахом земным. А уж во что превратился отец за эти годы в цинковом гробу, он и помыслить страшился. “Здравствуй, батя”, — прошептал Сашка, чувствуя, как помимо воли щиплет в носу, а на глаза наворачиваются слёзы. Сдерживать их не стал. Стоял и плакал возле отцовской могилы, покуда то ли от жары, то ли от аромата левкоев не высохли наконец

слёзы. Унялось волнение души. Он о многом хотел бы спросить отца. Испросить его советов, как испрашивал их когда-то и получал не мимоходный, но вдумчивый разговор, вспоминал крепкое мужское объятие, его незабываемый терпкий запах, в котором чувствовался и крепкий табак, и авиационный бензин, и отчего-то польнь вперемешку с сапожной ваксой. Он и теперь, присев на краешек горячей гранитной плиты, трогал её ладонью, спрашивал и всё ждал — даже и не ответа, но знака какого-то, что папа слышит его. Понимает. И всенепременно поможет. Ящерка серенькая вынырнула вдруг из-под могильной плиты. Промелькнула стремглав по граниту и замерла прямехонько между годами отцовской жизни. Черточкой живой. Знамение вечности бытия.

Другая весточка от отца пришла тем же вечером телефонным звонком из приволжского города Сызрани от курносо́й, беременной на девятом месяце девушки Люси, умоляющей Сашку поскорее вернуться в Москву — спасти мужа её, Харитонову Витю, легендарного лётчика, отцовского сослуживца и свидетеля его гибели. Минут пятнадцать кричала Люся в телефонный пластик про то, что демобилизованного с войны майора направили на преподавательскую должность в училище, а тот всё бунтует, пишет письма в воинские инстанции, глушит горькую, а теперь собирается, прихватив с собой табельное оружие и ручную гранату, вывезенную из Афганистана на борту вместе с иными трофейными боеприпасами, отправиться в Генеральный штаб “брать в заложники толстожопых”. Операция замышлялась вместе с однополчанином Мишкой Снегирёвым, что проживал ныне где-то в районе Чертаново. “Убьют же их, — выла в трубку Люся, — не пожалеют. Иль посадят. А у меня ж дитё... На сносях я...”

Сашке всё одно в Москву возвращаться днями. Да батя, видать, торопит. Скоро собрал чемоданчик. Обнял мать, которая в растерянности от неожиданных этих вестей и событий так и стояла в фартуке, держа в руке половник, с которого стекало на пол малиновое варенье. И с утренним же автобусом — в Свердловск. А оттуда самолётом — в столицу.

Заговорщиков накрыл тем же вечером по указанному Люськой адресу.

Дверь в берлогу оказалась открытой. То ли ждали новых гостей, то ли за прежними не затворили.

Витька Харитонов и Миша Снегирёв керосинили, по всей видимости, уже несколько дней. В неприбранной холостяцкой берлоге, где, кроме чешской стенки, возвышался только большой японский телевизор “Дживиси”, что вещал вполне себе советские нудные новости про очередную битву за урожай, да такой же громоздкий и такой же японский магнитофон с двумя деками, исполнявший музыку американскую, записанную подпольно барыгами. Кушил всё это богатство Мишка за чеки, заработанные на войне. За кровь друзей и врагов. Сожжённые кишлаки. За “брюшнячок”, с которым провалялся почти месяц в Баграме. За надорванное инфарктом сердце матери. За раннюю проседь отца. В берлоге — дым столбом. Чреда порожних бутылок из-под “Жигулёвского” в прихожей. В кухне, где, собственно, и разрабатывался план взятия Генерального штаба — штабеля немойтой посуды, пригоревшие сковороды, кастрюля картошки в мундире, объеденный остов гуся, початая тара из-под кефира, водки и болгарского коньяка “Плиска”.

Сами заговорщики пребывали в том тяжёлом физиологическом состоянии, когда после сорока восьми часов воспоминаний о прежних боевых подвигах, поминальных рюмок, рваных на грудях рубах, памятной солдатскому сердцу “кукушки” и пьяных слёз пришло время толковать о политике и людях, в ней обитающих. Несли по кочкам до хрипоты в горле и партию коммунистов во главе с её генеральным секретарём чекистом Андроповым, и воинских командиров, конечно, начиная с командующего 40-й армией и до самого министра в маршальском чине.

Пьяные кухонные дебаты той поры казались часто глотком свободы, явлением неведомой и чуждой русскому самосознанию демократии, о которой человек наш где-то слышал и даже, может, примерял на себя, да только как обращаться с ней, не ведал, а всё его непривычное к порядку и дисциплине нутро невольно ускользало из-под демократического спуда лёгким ветерком,

ручьём весенним. Сражались мужики в кухонных баталиях смертным боем. То и дело срываясь на ор. Сатанея. Временами и за грудки хватаясь, когда последние аргументы исчерпаны. Голубые клубы сигаретного дыма, изысканный родимый маг, какого по трезвому-то делу даже не сочинишь, кислый запах перегорелой в желудках водки полнили берлогу таким ядовитым духом, что чахлый и без того кустик герани, стоявший в жестяной банке из-под болгарских огурцов на подоконнике, окончательно сдох, роняя на линолеум кровавые капли последних своих лепестков.

Появившегося перед ними в парадном мундире полковничьего сына не сразу и признали. Смотрели мутными взорами. Взгляд то и дело сползал куда-то. Ускользал. Пришлось Сашке представиться. Как учили ещё в училище обращаться к старшим по званию. Пусть даже и смертельно пьяным. Для почтения пушкого козырнул. Снегирь с Витькой тяжёлыми, как свинцовые болванки, ладонями недружно козырнули в ответ.

— Сась, капитан, — проямлил таким же свинцовым языком Снегирь. — Вотки буш?

Выпили. Закусили венгерскими маринованными огурцами. Прямо из банки. Купая поочередно пальцы в сладком рассоле. Когда выпили за помин души Сашкиного отца и до лётчиков наконец-то дошло, что перед ними не просто полковника сын, но и боевой офицер, потерявший на войне не совесть, а ноги, медалями и даже орденом награждённый, то прониклись к нему, сами того не ожидая, какими-то родственными почти чувствами, норovia быть с ним вроде отца — и ласковее, и щедрее, готовые, если потребуется, собственные жизни за паренька этого героического отдать.

А Сашка и не просил никакой опеки. Жалко стало ему мужиков, на чью долю хоть и выпала война, да только что после войны этой делать — неясно, и кто ты есть после этой бойни — не понять. Не ветеран, не герой, так, исполнитель интернационального долга. Странная выдалась им война. Спрятанная. Тихая. О ней редко говорили по телевизору. Не часто вспоминали в газетах, а если и вспоминали, то всё больше про водопровод, который провели сердобольные советские воины в какой-то кишлак, про строительство моста через Амударью или про новых студентов политехнического университета в Кабуле. Народу советскому и вправду казалось, что долг своей интернациональной Советская армия исполняет подобно туристам, вольготно устроившимся на просторах дружественной страны. И только вражки голоса, доносившиеся к гражданам Страны Советов сквозь глушилки, да похоронки, что сыпались горохом в русские деревни, тюркские кишлаки и аулы, украинские и белорусские сёла, свидетельствовали об ином. И такие вот, как Сашка, инвалиды, что смущают своим видом счастливый народ счастливой страны.

— Ну что, дорогие товарищи, — спросил Сашка пьяненьких ветеранов, — когда на штурм цитадели?

— Акой ыщо ытадели? — изумился Снегирь.

— Да пшли они... — согласился Витька. Поднял мутный взгляд на Сашку. Обнял крепко за шею, прижал к себе. — Завтра к Люське. Она знаш какая! О-о-о!

— Знаю, дядь Вить, она меня к тебе и послала. Ей рожать со дня на день. А ты вот... дезертировал.

Дядя Витя Харитонов ничего не сказал в ответ. Только крепче прижал к себе стриженую Сашкину башку да затрясся весь мелкой дрожью, осыпая макушку капитана редкой капелью.

Случай этот, ничем особо не выдающийся и времени много не отнявший, вдруг просветлил Сашку одной простой, но зажигательной мыслью. Сила духа человеческого завораживает. Становится сразу и безоговорочно предметом преклонения. Диковинной ипостасью, которой хочется восхищаться, даже если ипостась эта тебе не принадлежит, но ты гордишься одним соприкосновением с ней, вспоминаешь многократно, воспоминация эти чтить. Взять его: с виду человек совсем обычный. И, можно сказать, кроме роста высокого, ничем не примечателен. Однако стоит заикнуться, что живёт без обеих ног, что потерял их на войне, но из армии не комиссован, инвалидом

поступил учиться в Академию ВВС, сразу же отношение меняется. Ещё минуту назад был простым человеком. И вот — уже пример. Простенькая, но всё же иконка.

Так и мужики, хоть и стреляные, хоть и битые на той же самой войне нещадно, герои, каких ещё поискать, возвращаясь к жизни мирной и оттого к подвигам их равнодушной, раскисали душой, пускались во все тяжкие, обретая счастье по старой русской традиции в обществе горькой, а по новой традиции, нынешней войной взращенной, — в чарсе и подобной ему траве. Дымом ядовитым, дурным стирали из памяти изувеченные трупы друзей, ужас обстрелов, усталость нечеловеческую, ночи без сна, “брюшняк”, “чёрный тюльпан”, общественное равнодушие, обозначенное в коротких, словно удар под дых, словах: “Мы вас туда не посылали”. Из омота этого ни жена, ни мать не вытащит. Только братишка-однополчанин, который и сам всё понимает без лишних слов. “Кукушка”, бутылка на стол, чарса потайная записка — вот и пошёл разговор. Не на час. На целый день.

Ну, а если братишка твой не расквасился, не потонул в собственных переживаниях и соплях, не опустился, а наоборот, поднимается, устремлён к свету, каждым своим поступком доказывая превосходство человеческого духа над грешной его плотью, — такой пример зачастую невяно, подсудно солдатскую душу очищал, приводил в состояние первозданное, довоенное, когда и любилось, и думалось, и жилось совсем иначе, пусть и не так обнажённо и обостренно, как на войне, но зато чище и благоднее. Короткая Сашкина жизнь и была этим самым примером. “Я увечный телом, — свидетельствовала она, — но не духом. Я ещё взлечу. Ещё покажу, на что способны обрубки. Докажу”.

Слова эти не произносились, конечно, вслух, но застряли занозой где-то глубоко внутри его сердца, чтобы являть пример этот почти ежедневно. А ещё ему было просто страшно. Страшно опуститься. Страшно надевать медали, испрашивая милостыню на опохмелку. Страшно сдохнуть обоссанным возле захоластного кабака от сердечного приступа.

И хотя жизнь в офицерском общежитии, куда он перебрался к началу учебного года, пуританскими нравами не отличалась, именно здесь принял Сая первый свой обет: избегать всяческой дури.

Корежило парня не меньше полугода. Крепко держали его привычки да страстишки прежние. Временами казалось, обет его смешон, не имеет никакого смысла, но лишь досаждаёт, вводит рассудок в смятение. Что возможно согласиться на какой-то компромисс, послабление. Всё равно никто не увидит и не узнает. Не осудит никто. Кто-то неведомый внутри него уговаривал: нет, не сдаётся, всего лишь уступить самую малость. Но кто-то иной настаивал: держаться изо всех сил и не уступать. И этот, Иной, пока побеждал.

Время, освобождённое от праздности, с лёгкостью и даже сердечной радостью тратил Сашка по большей части на занятия и лекции, что читали им советские полководцы, матёрые асы не только Великой Отечественной войны, но и всевозможных военных конфликтов, в которых то и дело крепил боевой дух страна: на Кубе, в Корее, во Вьетнаме, Анголе и Эфиопии. Афганская же война, в особенности та её сторона, что касалась труда авиационных наводчиков, их взаимодействия с военно-воздушными и всеми иными силами, в академии в ту пору не изучались. Стало быть, и ремесло, которым он владел в совершенстве, опыт его боевой ни стране, ни офицерам её, ни науке военной не гош. Так, что ли? Первым делом написал курсовую. А когда научный его руководитель полковник Родионов прилюдно работу эту отметил, отправил на Всесоюзный конкурс закрытой тематики и предложил переформатировать курсовую в диплом, поскольку знания эти нужные и всей нашей Советской армии полезные, тут у Сашки и вовсе крылья прорезались. Летал по академии орлом. Железяками своими по десятку километров в день нарезал. Так что и железяки в конце концов развалились. На новых протезах, созданных с применением какого-то специального итальянского пластика, шарниров немецких, что, по счастью, оказались и крепче, и удобнее прежних, на радостях записался в волейбольную секцию и теперь по средам и пятницам чеканил мяч, отрабатывал удары “по

ходу”, “с поворотом” и “переводом” и даже пробовал “пайп”. Из-за роста Сашкиного держали его в центральном нападении, в третьей зоне, где лупил по супротивнику со скоростных и коротких передач. По понедельникам и четвергам отправлялся в бассейн, где честно отработывал по три километра “кролем” и “брассом”. На одних руках, поскольку “ноги” отстёгивал еще в раздевалке. Скользил по мокрому кафелю до края бассейна на одних лишь култых. Никто не видел, никто не знал, как он отлѣживается в общаге после всех этих тренировок. Как ноют, стираются в кровь обрубки, как разъедает хлоркой глаза, но вместе с тем крепнут напоенные молочной кислотой мышцы, закаляется воля, а тело увечное переполняется жаркими волнами тестостерона.

В конце второго курса упробил начальство лѣтного факультета доверитъ ему штурманское место на учебной “тушке”, которая хоть и летала недалеко и невысоко, хоть видом уступала сухопарым, поджарым “мигам”, зато вновь пробудила позабытые чувства. Вибрация алюминия. Щелчок фонаря. Завывание лопаток турбин. Запах бензина, сгорающего в огне. Короткий и мучительный разбег, что отдаѣтся в тебе каждой трещинкой, каждой выбоиной бетона. И эта нездешняя, озѣрная лазурь, что поначалу едва прорывается сквозь серую папку облаков, но с каждым мгновением становится всё ярче, всё полнее, покуда не обрушивается на тебя всей своей чистой и безбрежной негой. И эта свобода полѣта, которой нет ни определения, ни предела. И эта тишина...

Там, на высоте в одиннадцать тысяч метров, он попросил инструктора переключить управление на себя. Положил руки на штурвал, ощущая пальцами покорность машины, скользящую её скорость. Взял на себя совсем слегка, переводя “тушку” в следующий эшелон, в стратосферные недра, и даже не глядя на высотомер, что накручивал уже и двенадцать, и двенадцать с половиной тысяч. Но тут раздосадованный третьей беременностью жены и инвалидом за спиной инструктор вновь перевѣл управление на себя, разворачивая машину вниз и назад к учебному аэродрому. В дождь. В простуженный апрель.

## 17. Антиохия. В год консульства Флавия Антиохиана II и Вирия Орфита (270 год)

Дом кудесника опустел. Промозглы, усыпаны слежавшейся палой лиственной мраморные веранды. Залы выстужены, гулки. Каждый шаг, каждый шелест возвращаются простуженным эхом. Пылью покрылись столы ливанского кедра, изящные сирийские лежанки, мраморные бюсты римских императоров и греческих божеств. Занавеси воздушного китайского шёлка безжизненны, вялые, а местами и вовсе прогнили. Сморщились, словно старушечья кожа, яблоки в бронзовой вазе, а бронза покрылась красивой изумрудной патиной. Засохла герань в горшках. Даже привыкшие к запустению суккуленты испустили влагу и дух.

Часть прислуги скончалась и уже сожжена. Другие заражены. Остался только семидесятилетний сторож, что по немощи своей едва волочит ноги, да армянка Ануш, которая теперь и за стряпуху, и за сиделку, и за посудомойку.

Киприан видит их редко. Лишь утром и после захода солнца, когда по извечной сыновней привычке приходит приветствовать мать и прощаться с нею. Безумная его не узнаѣт, как и прежде, глядит сквозь него, мимо. Безостановочно теребит пальцами полы туники. Гудит, кричит, мычит что-то понятное только ей самой. А теперь ещё и смердит. Сколько ни мыла её Ануш и со скипидаром, и с лавандовым маслом, и с мылом оливковым, запах невыносимый исчезает всего на несколько часов. И появляется вновь. Сладкий запах гниющей человеческой плоти. Киприан бы мог превратить мать в сладкоголосую птицу. Или в юную оливу, что прожизнѣт не одну сотню лет. Однако рассудка её вернуть не мог. А это означает, что выродится олива. И птица в безумии ринется к солнцу.

Цельми днями скрывался теперь Киприан в отцовском *таблинуме*<sup>7</sup>. Здесь и спал, укрываясь верблюжьим одеялом, на скрипучем ложе из фисташкового дерева. Он перечитывал Платона и стоиков, среди которых особенно выделял Хрисиппа и Панетия Родосского с его замечательным трактатом *“О надлежащем”*<sup>8</sup>, наполнившим в своё время живительными соками платонизма школьную реформу империи. Восхитился и неведомым ему прежде учением Филона Александрийского об аллегориях и экзегетике, благодаря которым Септуагинту можно расценивать как источник не только философской, но прежде всего религиозной и Божественной истины. Одну фразу из его трактата *“О посольстве к Гаю”*<sup>9</sup> он даже выписал на отдельный пергамент, вновь и вновь перечитывая и удивляясь проницательности этого иудея: *“Говорят, что Аполлон — не только прекрасный врач, но и прорицатель, предсказывающий будущее в [своих] прорицаниях для пользы людей, чтобы кто-нибудь из них, пребывая во тьме относительно неведомого, внезапно, словно слепой, не бросился бы в [нечто] нежелательное, стремясь к нему как к [чему-то] в высшей степени полезному, — но чтобы [каждый], зная наперёд будущее, словно оно уже настало, и видя его мысленно не хуже, чем [мы видим] то, что близко, телесными очами, берётся бы, принимая меры к тому, чтобы с ним не случилось ничего пагубного. Так достойная ли сравнивать с этими [прорицаниями] зловещие речи Гаия, в которых предвозвещались бедность, бесчестие, изгнание, смерть облечённых властью и могущественных [людей] по всей земле? Что может быть общего с Аполлоном у того, кто никогда не заботился о чём-то близком или родственном? Пусть прекратит лжеимённый Пеан подражать истинному Пеану: ведь образ Бога нельзя подделать, словно [золотую] монету”*.

И в отчаянии осознавал, в последние дни всё острее, как на него нисходит ещё не убеждение, но только предчувствие: прежняя вера была заблуждением. Все эти немислимые, кажущиеся неземными и даже божественными чудеса и превращения виделись ему обманом. Да и сам божественный сонм, в котором каждый отвечал за ту или иную стихию, враждовал, совокуплялся, производил на свет незаконных божеств, напоминал собой дурно воспитанное семейство, впитавшее наихудшие из людских пороков. А потому — порочное. Сыновья, убивающие матерей. Отцы, сожительствоющие с дочерьми. Брат, посягающий на сестру. Сестра, изводящая брата. И все вместе — уничтожающие людей. Все эти кентавры, фавны, гарпии, сатиры и бесы — смешение животного и человека. Но по сути своей звери, победившие человеческое начало. Или, как возвещал об этом Тертуллиан: *“Боги ваши и демоны — одно и то же, а идолы — тела демонов”*. Вот какой была его вера. И весь его опыт поначалу здесь, в Антиохии, а затем на Олимпе в святилище сивиллы, и в Аргосе, и на Икарии, и в Мемфисе Египетском — всюду свидетельствовал лишь об одном: вера его — темна. Нет в ней даже лучика света. А коли так, то и вся его прежняя жизнь — во тьме, в отсутствии Бога. В противопоставлении Ему, в бегстве от Него, даже в борьбе с Ним. Не тому ли свидетельством совершенно явственным все его попытки овладеть душой Иустины? Попытки тщетные. Волшебство бесплодное. Врожда зряшная. Подобно волнам морским рушились на скалу. Бились. И рассыпались серебристым дождём. Уходили в пучину. Да что же это за скала такая, какую не в силах снести ни океанские волны, ни силы тьмы во главе с их всеильным князем? Что за вера эта такая, с которой не умудрённая жизнью и опытом матрона, но хрупкая девочка, недавний ребёнок, с лёгкостью сокрушает любые козни, могучее, многовековой закваски волшебство?

Христос? Сын плотника из иудейского Назарета, о котором в последнее время только и разговоров по всей империи, как и про учеников его, обошедших её вдоль и поперёк? Киприан не знал и не понимал ещё этой веры. Даже прикоснуться страшился. Но разумом своим многоопытным прозревал, что раз не сотни, но сонмы последователей вот уже четверть тысячелетия исповедуют эту новую веру и число их изо дня в день только растёт; раз люди эти несут не высоколбые философские теории и силлогизмы, но простые и понятные даже неграмотному крестьянину истины; раз общины их — не языческие вакханалии, но братства, а на смерть за своего Христа они идут

не со слезами, но с улыбкой на устах — раз все это так, а не иначе, значит, есть в этой вере неуволимое и непонятое им покуда зерно, есть неоспоримая истина. И истина эта — сам Христос.

С острожностью, с внутренним трепетом подошёл он к шкафу с манускриптами. Здесь на самой верхней полке в особой шкатулке из сандалового дерева с искусным орнаментом резчиков из Дамаска отец хранил запретные тексты. Среди них — Евангелие от Матфея. Киприан прежде не прикасался к этим страницам. А прикоснувшись, ощутил на кончиках пальцев лёгкую дрожь и искорки света. Открыл наугад и прочёл: *“Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонись мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”*. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему”<sup>10</sup>.

И слова эти праведные словно пелену с глаз сорвали. И увидел Киприан, что все эти годы и служил, и кланялся с радостью диаволу, которого почитал за бога. И доньне служит ему, не имея сил и желания однажды сказать, подобно Христу: отойди от меня, Сатана!

Лишь подумал об этом — стук в дверь. Это Ануш явилась с базара с радостной вестью, о которой судачит ныне весь город.

— Мор отступил! Случилось это по молитвам христианки Иустины. На базаре полно крестьян с товарами. А в храмах христианских, даже несмотря на запрет, толпы из желающих принять Святое крещение.

Не сказала только Ануш, что торговки базарные клянут её господина по чём зря, обвиняя его и в потопе, и в последовавшем вслед за тем море, а уж заодно и во всех городских несчастьях, включая рассыпающийся от старости акведук и нерадивость чистильщиков клоаки. Кое-кто так и вовсе грозит скорой расправой.

Обедал он в этот день, как и обычно теперь, в одиночестве. Свежая зелень портулака, радостная оранжевость морковки, жёлтая репа с сахаристым нутром возлежали перед ним на медном блюде. Возле парила ароматно свиная рулька, тушённая с мальвой, дамасскими сливами и *гарумом*<sup>11</sup>. В атриуме было совсем тихо. После того как подала обед господину, Ануш удалилась в покой его матери, чтобы накормить и её. Теперь уже с ложечки, словно дитя малое.

Первый камень влетел в атриум и угодил прямёхонько в миску с рулькой, обдав лицо и одежды Киприана обжигающей жирной жижей. Следом влетел другой. И ещё. И снова. Камни ударялись о стены атриума без перерыва. Откололи нос мраморного бюста императора Адриана. Расколотили несколько горшков с геранями. И даже задели плечо чародея. Вслед за этим злоумышленники принялись метать в дом мешочки с фекалиями, что шлепалась повсюду, растекаясь по белоснежному мрамору, источник нестершимое зловоние. Киприан слышал с улицы возбуждённые голоса толпы, умоляющие речи сторожа, призывающего остановиться, остыть, поскольку хозяина всё равно нет дома и это ему, а не хозяину, предстоит тут чистить да отмывать. Слышал Киприан и угрозы совершенно явные с колдовским гнездовьем раздаться. Сжечь его вместе с хозяином и безумной его матерью, что произвела на свет сатанинское отродье. В прежние времена он бы с лёгкостью превратил этих людей в жабы племя. И самолично передал бы его калигами. Но сейчас он испытывал непреходящее чувство стыда и раскаяния. За то, что в порыве гордыни и мести обрёк своих сограждан на мучения, страдания и смерть. Оставил детей сиротами. Жён — вдовами. Старцев обрёк на прозябание в немощи. Ему бы спуститься к ним. Да в ноги упасть. Да покаяться. Пусть даже и получив за злодеяния свои несколькими камнями по хребтине. И побольней. Всё равно не возместить его злодеяния собственной физической болью. И даже смертью великого чародея множества невинных, пускай и не таких прославленных жижней не заместить. Углублённый в тягостные переживания, Киприан даже с места не сдвинулся, будто окаменел. Да так бы просидел в безмолвии до самой ночи, если бы мешочек с дерьмом беглого раба с рваной ноздрей, этого *servus servorum Dei*<sup>12</sup>, не ударил его



в лицо. И растёкся по лицу зловонной, унижительной жижей. Удар этот, зловоние это, словно водопад родниковый и чудодейственный, раскололи каменный панцирь его души, омыли её светом нездешним.

Слёзы хлынули из глаз Киприана. Не слёзы обиды или бессильного гнева. Чистые слёзы раскаяния, какими он плакал разве что в раннем детстве и почти забыл их очистительную силу и непорочность.

Долго плакал он в глухом запустении атриума, размазывая по лицу рубское дерьмо вперемешку с тёплой сокровенной влагой, не замечая сам, как очищается от всяческой скверны, как полнится душа покаянными чувствами, проникается ими до самых глубин, до донца.

А вскоре и гомон уличный стих. Старый сторож, шаркая скрюченными артритом ногами, шептал под нос еле слышные проклятия нечестивцам, перебрасывая чрез перила в сад камня, ветошью мокрой и водой из кувшина смывал с пола, со стен бурые пятна человеческих испражнений.

Посреди крохотного внутреннего садика, *виридария*, в котором нашлось земли только для миндального дерева, высаженного в честь рождения Киприана, старой магнолии в крупных, кипенно-белых с розовыми подпалинами соцветий и такого же старого лавра, возвышался мраморный фонтанчик, изображавший сражение кupidона с карпом, обок — мраморная же скамейка, на которой любила сидеть в пору своего здоровья мама. Фонтан молчал. В вазе его широкой и прохладной, подёрнутой по краям зелёной хлореллой, плавал одинокий лавровый листок. Киприан пришёл сюда, чтобы умыться, но невзначай увидел собственное лицо в отражении водной глади и будто оторопел. Глубокая морщина зигзагом молнии перечертила высокий лоб. Веки отяжелели. Исполнился грусти взгляд. А волосы седыми прядками пробились. Хотел было смыть наваждение. Плеснул горстями несколько раз поспешно в лицо, но после того, как дрожь воды унялась, он видел отражение того же самого Киприана преображённого.

До самого заката просидел он на скамейке в раздумьях о том, что произошло и продолжает происходить с ним сегодня, но осознать Божественное провидение никак не мог. И лишь когда последний луч солнца пробрался в виридарий, тронул его тёплым прикосновением, в сердце Киприана словно светильник озарился. Бросился в *кубикулу*<sup>13</sup> стремглав. Переделся в отцовский старый хитон из грубой шерсти. Взял посох пастуший, что оставил, видать, возле ворот кто-то из нападавших, и решительно отправился прочь из города сквозь золотые его врата.

В Дафну добрался к полуночи. Священная роща в столь поздний час дика, полна призраков и видений. Бледные статуи божеств подобно покойникам в саванах выглядывают из тьмы. Глаза их пусты. Руки холодны. Но, кажется, движутся неслышно, опасно. Гулок театр. Тогаты и трагедии, сценические убийства, притворная любовь полнят амфитеатр шорохами и шагами. И гомерическим хохотом, от которого стынет кровь в жилах. Сонные нимфы в прозрачных тогах, не скрывающих, но лишь подчёркивающих отроческую их наготу, возлежат возле пруда, раскинувшись бесстыдно. Птицы ночные, неясны и филины, слетают с сосен и эвкалиптов и парят над землёю низко в поисках заплутавших дриад. Дремлет чутко олений гарем. Одинокие светлячки перелетают с ветки на ветку, путаются в траве. А вот и чей-то взгляд, на свечение светлячка похожий, пристально смотрит из тьмы. Следит неотступно. Жадно...

Прежде он бродил по роще этой без опаски и страха. Засышал в объятиях нимф. Пробуждался от поцелуя Авроры. Кормил цветочной пылью пчёл. Разговаривал с птицами. Слушал сплетни зверей. Теперь он их не слышал. Или дар этот магический утерял. В нимфах видел ныне источник искушения. Сторонился докучных дриад. И страх, липкий до холодного пота страх шагал за ним по пятам.

Храм Аполлона, гуще прежнего увитый плющом и ползучими сорняками, сходен стал с лесным гротом. Жертвенник, чей священный огонь уже несколько месяцев не возжигала рука понтифика, а уж тем более мирянина, обвивает тонкий побег дикого винограда. Статуя божества в адитоне подёрнута паучьими тенётами, загажена помётом стрижей, пылью подёрнута,

но всё так же величественна, надменна. В трепетном свете факела, который возжёт Киприан перед тем, как вступить в храм, лицо Аполлона, весь облик его, казалось, сразу оттаял, ожил. И взирал на пришельца то ли с упрёком, то ли с радостью. Прежде он упал бы пред божеством ниц. Возжёт не только факел, но прежде всего сам жертвенник. Молился без усталости. Приносил жертвы. Лил вино на обгоревшую плоть. И молился вновь.

Теперь он смотрел в лицо Аполлона с вызовом. С неприкрытой усмешкой. С сарказмом, горьким, как желчь. Взглядом, полным утраченных иллюзий.

— Очнись, идол! — выкрикнул Киприан, глядя на меняющееся лицо божества. — Где жало твоё? Где твоя сила?! Ныне смеюсь над тобой. Презираю тебя. Проклинаю тебя, порождение тьмы!

И лишь помянул тьму, потемнело и лицо Аполлона. Чело нахмурилось. Загорелся гневом взор. Взыграл золотым кадыком. Желваками проскрежестал. Вздыхая столпы пыли, паутины тенёта срывая, пугая летучих мышей и крыс, хоронившихся под его покровом, ожил вдруг истукан. Оторвался, с грохотом камнепада сошёл с постамента, на котором простоял несколько сотен лет. Двинулся к Киприану. Царственный его лик был исполнен неколебимой решимости, могущества и гнева. Шёл медленно, тяжело, так сотрясая и храм, и саму священную рощу, что от шагов его враз пробудилась она, охваченная ужасом первобытным. Припустил прочь из рощи олений гарем. Стражи ночи, филины и неясны, с криками метнулись подальше от этих мест. Вслед за ними — шумные стаи летучих мышей и лис. Перепуганные нимфы поспешили укрыться на дне покрытых ряской озёр. И мраморные лица божеств ещё гуще затянуло тёмной патиной. Всё ближе истукан. Всё громче шаги его. Страшнее безжизненный взгляд. Минуты не пройдёт, как растопчет Киприана, раздавит циклопическим своим туловом. Вспомнил тогда чудесник, как спасалась и ограждала себя от его же, Киприанова чародейства чистая Иустина, и факельной копотью начертил торопливо крест прямо перед истуканом — на алтаре в его честь. Остановился тот как вкопанный. Слово кто-то неведомый и могущественный в одночасье лишил его адских сил. Стоял молча, шевельнуться не в силах. Только грозно глядел на чародея. Хрипел гулко. Шипел.

— О губитель и обольститель всех, источник всякой нечистоты и скверны! — выкрикнул в хари ему Киприан. — Ныне я узнал твою немощь. Ибо если ты боишься даже тени креста и трепещешь Имени Христова, то что ты будешь делать, когда Сам Христос придёт на тебя? Если ты не можешь победить осеняющих себя крестом, то кого ты исторгнешь из рук Христовых? Ныне я уразумел, какое ты ничтожество, ты не в силах даже отомстить! Послушавшись тебя, я, несчастный, прельстился, и поверил твоей хитрости. Отступи от меня, проклятый, отступи, ибо мне следует умолять христиан, чтобы они помиловали меня. Следует мне обратиться к благочестивым людям, чтобы они избавили меня от гибели и позаботились о моём спасении. Отойди, отойди от меня, незаконник, враг истины, противник и ненавистник всякого добра!

Задрожал истукан мелкой дрожью, аж позолота с него посыпалась сверкающим дождём. Зарычал, завопил истошно, будто зверина раненый. Очами злобно сверкнул. Жжёной серой воздуха наполнились. Сладким смрадом тления телесного. Кинулся демон на Киприана, сокрушив на своём пути алтарь мраморный и жертвенник бронзовый опрокинув. Сейчас бы и раздавил бывшего своего служку. Да только тот вновь, памятуя об Иустине, и себя самого осенил крестным знаменем. И воскликнул:

— Боже Иустины, помоги мне!

Словно ураган сей же миг пронёсся внутри святилища. Подхватил истукана и с силой исполинской отшвырнул в самую глубь адитона. Вздрыгнули, трещинами подёрнулись стены. Крошка мраморная и пыль облаком мутным заволочили храм. И только скрежет зубовый, только суставов хруст да вой гортанный, животный слышались из тьмы. Снова и снова осенял себя крестным знаменем Киприан. И не только себя, но и эту шевелящуюся, харкающую тьму, в которой, казалось ему, и сосредоточилось земное зло. И не только земное. Вселенское. “*Христос Воскресе!* — повторял чародей

заполотно. — *Христос Воскресе!*” Повторял снова и снова, охаживая именем Спасителя поверженное чудище со всех сторон, точно железной палицей. Крестился неудержимо. Кланялся до земли. Вновь и вновь, откуда не взмок, не лишился последних сил. Тихо сделалось в адитоне. Ни звука. Ни стона. Ни шороха. Выдохнул Киприан. Отёр крупные капли пота с лица. Перекрестился напоследок, ещё и не осознавая, верно, в какую битву вступил. И каким Божественным чудом вышел из неё целым и невредимым. А когда повернулся к адитону спиной да пошёл прочь из языческого святилища, голос утробный донёсся вослед:

— Не избавит тебя Христос от рук моих!  
Обернулся. Позади тьма непроглядная.

### **Кондак 9**

Вся ангельская воинства возвеселистася, видя тя воина Царя Небеснаго непоколебима и со дерзновением Христа проповедаваша, егда веден был на мечное сечение вместе со Иустиною. Ты же болезноваше за нея, да не отречется от Христа, егда увидит тя усекнута, увещал еси мучителей, да исперва ю, а по ней и тя усекнут, подклони же под меч главы своя, Богу воспеши есте: Аллилуиа.

### **Икос 9**

Витии многовещанныи не возмогут по достоянию восхвалити страдания ваша за Христа, не убоялися есте прещений лютых, но со светлыми лицами представше судилищу цареву, воздвизая всех верных воспевати вам сице: Радуйтеся, веры Христовой непоколебимии исповедницы; Радуйтеся, Пречистыя Троицы дерзновении проповедницы. Радуйтеся, мучения лютая ни во чтоже вменивши; Радуйтеся, страдания ваша в храмах Божиих величаются. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **18. Москва. Январь — май 1988 года**

Снегирь покончил с собой в канун Рождества. Ещё торчала в цинковом ведре с мокрым песком посреди комнаты плешивая ёлка с цветной бумажной мишурой, стеклянными сосульками, картонными снежинками, шарами серебряными. Ещё смешили советский народ с экрана японского телика развесёлые при любом режиме одесские хохмачи. Ещё и водки ледяной полна морозилка. И девушка Женя с фармацевтического факультета после ночи любви пребывает в неге, в объятиях сна. А Снегирь уже мёртв безвозвратно.

Три часа назад, когда ненасытная Женя наконец уснула, он выскользнул из постели и голым ушёл на кухню. Не зажигая света, отрешённо смотрел в окно на такие же тёмные стёкла соседних домов, замечая, что жизнь теплится лишь в немногих. Жёг сигареты с ментолом, которые оставила на кухне студентка. Откупорил осторожно, неслышно запотевшую бутылку “Советского шампанского”. И выпил её несколькими долгими глотками прямо из горлышка тяжёлого зелёного стекла. Отыскал возле картонной иконки Спасителя изготовленный, да позабытый в любовных утехх косяк чарса. Подпалил и затянулся глубоко. Не вынимая его изо рта, проследовал в ванную. Пробкой пластиковой на толстой леске заткнул слив и открыл горячую воду. В зеркало, обклеенное потешными переводными картинками с ежиками, мухоморами и тремя блондинками из ГДР, на него глядел измождённый человек, в котором за облезлой амальгамой, за голубым дымом дурмана Снегирия можно было узнать с трудом. Разве что во взгляде едва мерцал, едва сквозил чрез тяжкую, тугую пелену морока ребёнок, каким был он когда-то. На коже его предплечья, схожей по цвету с бумагой газетной, виднелась аббревиатура ОКСВА и годы службы. Всего-то два года. Поверху — Allah, имя мусульманского бога. Вот и всё, что было в короткой жизни Мишки Снегирёва. Глядя на свою небритую физиономию, коротко усмехнулся и полез в ванну. Здесь распластался блаженно, ощущая, как горячая вода разгоняет

кровь, парит лоб, полнит суставы и кости истомой блаженной. Станок, которым Женя брила подмышки и ноги, лежал на самом краю ванны. С обрезами рыжих волос, засохшей пены. Раскрутить станок, вынуть из него лезвие несложно. Да и полоснуть по венам обеих рук совсем не больно, оказывается. Лазоревый дым тлеющего чарса. Пурпур истекающей в воду крови. И тёплая, будто материнское лоно, утроба смерти, что увлекала Снегиря всё глубже и дальше в непроглядную свою тьму.

Хоронила его окоченевшая от горя родня, трое школьных приятелей да несколько однополчан с боевыми наградами на парадных мундирах. Хоронили суетно, словно хотели поскорее избавиться от самоубийцы, на дальнем кладбище подмосковном, на его окраине, в стылой глинистой яме. Жизнь человеческая, если вдуматься, завершается как-то несправедливо, скоротечно. Как-то неподобающе буднично. Даже банально. Целовали восковой лоб. Касались хладных рук, сложенных на груди скульптурно. И вот уже — звук молотка, забивающего гвоздь в крышку гроба, но кажется, в самое сердце. Глухой барабанный бой комьев земли. С каждым мгновением всё глуше, всё тише. Всё безнадежней. Каких-нибудь семи минут достаточно трём полуграмотным, частенько подвыпившим кладбищенским могильщикам, чтобы закопать под землю даже самого замечательного, самого выдающегося человека. Поэта. Учёного. Полководца. Как и безродного забулдыгу. Или офицера-самоубийцу. Перед могильщиками все мы равны.

На поминках, организованных роднёю в заштатной кооперативной кафешке, пили горькую. Вновь говорили о том, что война наступает часто и за линией фронта, в совсем мирные дни. Вновь вспоминали войну, горячася и позабыв о покойнике, потому как ничего более важного и значимого в жизни этих мужчин не было и, казалось, уже не будет. Вновь рыдал Харитонов Витя теперь уже и оттого, что у Люськи его родился даун. И она винила в этом майора. Вновь пели под гитару опостылевшую “Кукушку”. Чуть было не подрались со стайкой наглых дагестанцев, да на счастье подоспела вызванная хозяином кафешки “крыша”, и пацаны бесстрашных с виду горцев пинками повышибали. А во главе пацанов — кто бы мог в это поверить? — Железный Крюк, старый приятель Верунчик. Сцепились в объятиях. Ребятам руки пожал, стеснительно пряча за спину стальной крюк. За встречу махнули по маленькой, а затем и по большой. Оказалось, Верунчик промышляет теперь лихими делами. Охраняет с бойцами возрождающийся класс советских кооператоров да старорежимных цеховиков, которым нынче поблажка вышла, от всяческих неприятностей и угроз вроде таких вот посланников с Кавказа. В банде его тридцать ребят — и ветеранов с опытом боевых операций, и отставных спортсменов, которым в нынешней мутной жизни приткнуться некуда, есть и трое сидельцев, вышедших на свободу по недавней амнистии. Про дела свои Верунчик, по понятным причинам, особо не распространялся, утверждая, что на жизнь и ему, и легендарной Вере, и народившимся после госпиталя двум малышам вполне хватает. Хватает даже на подержанный немецкий “мерс”, в котором он теперь разъезжает по городу падишахом. Внешность комиссованного лейтенанта подтверждала его слова. Обряжен в пиджак цвета перезревшей малины, в лакированные концертные штиблеты, с цепью золотой, кручёной, именуемой в народе “голда”, под рубашкой распахнутой. Взгляд короткий на оттопыренный с левого бока пиджак перехватил в мгновение ока. Наклонился к Сашкиному уху на расстояние шёпота и доверительно произнёс:

— “Стечкин”... Мало ли чё.

Всей поминальной компанией за исключением родни, естественно, двинули затем в валютный “Космос”, где и пошло, и отношение, и девки, и халдеи — всё в расчёте на иноземных гостей. Здесь сперва пили виски с колой. Потом джин с тоником, закусывая это алкогольное благолепие крохотными крендельками с солью и орешками кешью. Под музыку, тоже сплошь чужую, дергались, и дрыгались, и выделявали собственные кренделя пьяные русские офицеры, ещё не понимая, не ведая ещё, что музыка эта, а заодно с ней валютный этот угар захлестнёт их родину в самые ближайшие годы и не десяток ветеранов афганской войны, а весь народ пустится в дикий пляс,

пропивая и просирая собственную страну в языческой вакханалии дикого русского капитализма.

Дикие, тёмные люди, соблазнились они мишурой фантиков, булок, пошла сладкого, принимая дары эти и державы, что их для таких вот пигмеев в избылии производят, за страны во всех смыслах развитые, за светоч, к которому глупой русской душе тянуться изо всех сил не меньше столетия, да и то, может, ни в жисть не достичь, потому как немец или даже француз, а какой-нибудь американец — тем более, завсегда воспринимались доверчивым русским сердцем с ничем не обоснованным, порою рабским каким-то почтением. С восхищением к его языку, какому стремится обучиться весь мир, ослепительной ли белизне зубов, наглой ли морде, беременному от долларов кошельку. Ему бы на себя оборотиться, восхититься собственным языком, краше которого и богаче немногие языки на свете. Просторами своими необъятными с тысячами километров рек, побережий, гор и пахотных полей озаботиться да недрами, полными золота и серебра, нефти и газа, о которых иные наши кумиры и мечтать не смеют. Этот бы народ, прежде всего, из грязи-то с коленок на ноги поднять. Обучить его уму-разуму. Обогреть. Накормить. Жильём и землёй обеспечить. Дать ему волю вольную. Да суд неподкупный. Закон суровый. Правителя сердечного. Министров совестливых и рачительных. Да веру христианскую. Вот и будет на земле нашей счастье, какого и в Америке не сыскать. Но нет же, пляшет русский народ в пьяном иступлённом угаре. И будет плясать под чужую дудку ещё не один десяток годов.

Веселие безудержное тем не менее не отменяло жизни будничной, рутинной. Лекций, порою совсем уже скучных, библиотечных залов, в которых книжка или какой секретный реферат ищется через карточки, а потом тщательно конспектируется, а записи эти опять же сдаются в спецзапись под роспись. Никто не отменял вечерних путешествий в столицу по аккуратно записанным в синий дерматиновый блокнот адресам одиноких, лишённых какой-либо поддержки ветеранов. Не тех, о которых пеклась страна по дням Девятого мая. Иных — молодых и потерянных. Стране не нужных. Про первого такого служаку, памятуя о том, как поднимал Сашка дух раненым бойцам, рассказал всё тот же Вернучик. И даже привёз в Чертаново на пижонском своём авто, в окружении молчаливых бойцов. Паренёк из мотострелков имел ранение в пах, отчего его мужское достоинство потеряло работоспособность. Скрывался он на съёмной квартире, сторонясь и родителей, и, в первую очередь, молодой жены, рассказывая им байки про реабилитацию в закрытом военном санатории, куда никакую родню, конечно же, не допускают. На самом деле просто бухал по-чёрному. Выл собакой. И даже пытался повеситься на дверной ручке. Да духу не хватило сунуться в петлю. Сашка его перво-наперво привёл в чувство нашатырём. И втолковал как старший по званию, что причиндали нынче делают взамен повреждённых новые и даже лучше прежних. На другой день записал парня через генерала с оперированной простатой в институт урологии, где тому и вправду за неделю что надо пришили, ещё и прибавили несколько сантиметров от щедрот хирургических да от сострадания к юному защитнику Родины. Другой ампутант, хоть и с роднёй, с женой и ребятишками, из конуры своей на девятом этаже никак на улицу спуститься не может. На лифте-то он в коляске инвалидной, положим, съедет, а вот дальше — никак. Всякий раз приходится ждать мужиков соседских, чтоб спустили и подняли обратно всего-то на один высокий пролёт. Не меньше недели собачился Сашка, чтобы сивый управдом с беременным пузом и сонным взглядом распорядился поставить в подъезде две рельсы. Да и за те сотку выторговал, мироед. Третий ветеран, двадцати пяти лет от роду, жил с хворой мамой, за которой и самой уход нужен. Да вот беда — кормильцу единственному выбило на войне оба глаза. И в “Правду” писала мама, и в “Комсомолец”. Толку-то что? Договорился Сашка с обществом слепых. Клеить конверты. Худо-бедно, а всё ж копейка лишняя в дом. И при деле боец.

С Валеркой Лунатиком повстречался он по совершенной случайности в очереди на ВТЭК, где оформляли всяческим бедолагам, и не только военным, разные группы инвалидности. Поначалу-то он даже и не признал

в человеке этом угрюмом, укутанном подобно жуку-бронзовке в болоньевый плащ с зелёным отливом, с правым глазом, то и дело вздрагивающим, и сцепленными до синевы в замок пальцами своего боевого товарища. Того самого Валерку с таёжной станции Партизан, что в отчаянии расстреливал фотографию изменившей ему невесты на базе Кандагарской ГБУ. Того самого Лунатика, что после войны мечтал поступить в отряд космонавтов и первым из советских людей ступить на Луну.

Признав однополчанина тоже, конечно, не сразу, но тягостно взглядываясь в Сашкины глаза, сличая их долго с тем, что осталось в его памяти, принял Лунатик выпрашивать про его жизнь, теперь уже и всей головой вздрагивая: то ли кивал, то ли сокрушался чему. Тут и очередь подошла. Начертал рваным почерком на пачке “Каравеллы” адрес и телефон. Скрывлся в дверях кабинета поспешно.

Сашка позвонил на следующий день в надежде узнать и о судьбе Кандагарского ГБУ, и Славика-хохла, и самого Валерки, конечно.

Проживал теперь Лунатик в городе космонавтов Болшево под Москвой, прямо возле железной дороги, по соседству с домом поэтессы Цветаевой. Как и множество подмосковных дач в ту пору, было жилище его добротнo скроено из морёного тёмного бруса ещё в довоенные годы, обшито вагонкой, щелястым штакетником огорожено. Теперь штакетник, придавленный кустами бузины, одичавшей малины, поредел, местами и вовсе завалился. Краска на вагонке потрескалась и облупилась. Стекло давно не мытых окон катарактной мутью заволокло. Ступеньки деревянные, что на терраску ведут, а оттуда — в дом, и те провалились. Листьев тлен, кипа жёлтых газет, три порожние бутылки из-под портвейна “Агdam” на терраске. И хлипкая дверь на пружине — не заперта. Лунатик встретил Сашку в иофановском кресле морёного дуба, настолько поношенном, что сквозь язвы на коже местами торпорчился конский волос и ржавая сталь пружин. Окна прикрыты тяжёлыми, десятилетиями не стиранными портьерами из фиолетового бостона. Только сквозит откуда-то сверху, со второго этажа, проекция окна серым овалом. Сыро в комнате. Мерно капает в углу рукомоиник. Пахнет плесенью. Прелым листом и прелой человеческой кожей. Круглый стол под абажуром оранжевого жаккарда завален вырезками из газет, листами ватмана с чертежами, а то и почеркушками, в которых угадываются траектории планет и агломерации звёздных галактик. Кошка чернее сенегальского негра рокочет умиротворённо на коленях Лунатика. А тот восхищённо смотрит на Сашку, будто встретился с ним впервые.

— Хорошо, что ты нашёл меня... — говорил безостановочно ветеран, — я и сам хотел тебя найти. Письма писал. По инстанциям. Даже в ЦК партии. Тебе ничего не говорили? Возможно, они скрывали тебя. Помнишь Славку? Они скрывали его на базе четырнадцатой бригады в Уссурийске. Три года скрывали. Зачем, думаешь? Его хотели убить Путина. Но я предупредил Володу. Теперь этот план раскрыт.

— Валера, — прервал его Сашка, — что ты несёшь? Какой ещё Путин?

— То есть как какой? — удивлённо поглядел Лунатик, словно речь шла о чём-то само собой разумеющемся. — Будущий спаситель России. Наш президент.

Следующий час он рассказывал Сашке о грядущем крахе советской державы и о том, какую роль сыграют в ней люди ныне едва заметные, а иные, как тот самый мифический Путин, и вовсе невидимые. Как расплзётся, рассыплется в прах великая страна, увлекая в небытие миллионы человеческих жизней, остальных же обрекая на прозябание и нищету. Как рушится целый мир. И ничто не в силах этому помешать.

— Да откуда ты всё это взял? — ошарашенно спросил, наконец, однополчанина Сашка.

— То есть как откуда? — вновь удивлённо вскинул брови Лунатик. — Лиля сказала. Она и тебе всё скажет. Знаешь, она у меня какая!

Лиля оказалась кузиной Лунатика. И проживала в той же хибарке, но только на втором этаже. Днём работала в фотослужбе модного журнала “Огонёк”. Вечером и ночью пророчествовала будущее. Да настолько успешно,

что со временем деревянный домишко на отшибе Балашихи стал местом па-ломничества не только местного населения, но и столичной богемы, толкущейся беспрерывно в прокуренных коридорах журнала.

— Приходи, если захочешь, — предложил Лунатик товарищу. — В пят-ницу вечером здесь много людей бывает.

— Непременно приду, — пообещал Сашка, прекрасно понимая, что вряд ли сможет выбраться сюда в канун выпускных. Да и к чему ему знать про будущее?

Поднялся со стула. Пожал непривычно вялую руку. Спросил просто так, чтоб о чём-то ещё спросить:

— Как Луна?

— Она прекрасна, — ответил Валерка. — Я побывал там в прошлом году. Секретная миссия. О ней ничего не писали в газетах. Зато теперь Лу-на наша.

“Бедняга”, — решил про себя Сашка, торопливо пробираясь к выходу.

Все последующие весенние пятницы, когда Москва насыщалась яблоне-вым цветом, яичными “собачками” акаций, тополиным пухом, что любила поджигать детвора, Сашка проводил на плацу перед главным корпусом ака-демии. Именно здесь, на горячем, но ещё не обновлённом белой краской ас-фальте, вручат ему диплом и очередное воинское звание. Именно здесь пред-стоит ему пройти в парадной шеренге выпускников, да не просто пройти, а так, чтобы никто и не догадался, что марширует “обрубок”. Строевой устав воинской службы недвусмысленно предписывает что рядовому, что офицеру идти в парадной шеренге со скоростью сто десять шагов в минуту, поднимая ногу на двадцать сантиметров от земли и припечатывая затем к асфальту или другой какой поверхности всю ступней, до удара. На отработку этой устав-ной и, казалось бы, нехитрой науки у здорового-то солдата не одна неде-ля уйдёт. А тут инвалид безногий. Вот и колдыбал Сашка по плацу, облачив-шись в парадные портки с ботинками, в одной майке поверху, по нескольку часов кряду, отрабатывая и эти самые двадцать сантиметров, и этот удар, от которого всякий вечер приходилось протезы снимать да торцевой отвёрт-кой механизмы подтягивать. Ногу задрать на положенные сантиметры — это ещё полдела, но вот пытаться оттопырить носок, даже на иноземных протезах — пустой труд. Не гнулся носок. И с этим Сашка ничего поделать не мог. Поднятая нога гляделась топорно, являя миру своё искусственное нут-ро. Зато вот ударяла об асфальт знатно. С металлическим стоном. Со скри-пом кожаной гильзы. Стометровый плац вышагивал за день до десяти раз. То и дело отирая рукой с лица пот, что ел глаза, пятном волглым расплы-вался по синей майке, оставляя сухие белёсые подтёки даже на портках. Возвратясь с плаца в общагу, не меньше часа сперва тщательно мыл, потом мазал распалённые, солью и ударами изъеденные культы глицирином, творил себе лимфодренаж. В такие дни протезов уже и не надевал. Скакал по ком-нате на коленках. Или, устроившись в кресле с дерматиновой липкой обив-кой, грыз науку войны — здесь-то вовсе не страшную и не кровожадную, однако воплощённую в авиационные двигатели и огневую мощь, способную оборвать сотни жизней, пролить сотни литров человеческой крови. И всё это не ради счастья, не ради жизни, но победы над врагом ради. Каким врагом, какой победы, какой ценой? Об этом в конспектах и учебниках не говори-лось ничего.

Выпускной блистал медными всполохами валторн, басовых туб и эуфо-ниумов. Золотом аксельбантов. Генеральских звёзд и медалей — не юбилей-ных, а боевых, полученных за прошлые и нынешние войны. Солнышком летним, с припёком. Жасминовым духом сладким, что растекался по плацу посреди колонн выпускников, подобно душевной патоке, улаждая их серд-ца радостью необъяснимой, гордостью за содеянное, хоть и умещающееся всего в пару строк личной твоей биографии. Отутюженные и загадя вычи-щенные до магазинного лоска синие мундиры ВВС, рубашки сахарного крахмального хруста. Фуражки с кокардами, лаковыми козырьками, позу-ментом золотистым. Хоть и рядились Сашка и товарищи его в парадную фор-му не раз по всяческим государственным и воинским праздникам, да только

каждый раз — трепет сердечный, звон в ушах, восторг. Голос, усиленный десятками динамиков, сомкнул ряды. Выровнял их, собрал в струну. И натянул, так что плац потонул в тиши. Только лёгкий ветерок гнал перед строем выпускников легкомысленный и неуместный фантик из-под карамели “Раковая шейка”. И когда голос точно так же, как прежде, вытягивая каждый звук, привёл в движение тысячу ног, когда во всю свою медную и человеческую мощь грянул духовой оркестр, вот тогда-то в сердце каждого что-то оборвалось. И горячая волна, в которой соединились ручейки братства, гордости, сопричастности и единства, хлынула в человечьи сердца, пенясь и бурля от единения с духоподъёмной музыкой солдатского марша. Сашка шёл в третьей шеренге с краю, не чувствуя ног, будто плыл в этой тёплой волне. Плыл, щурясь на солнце, вывернув шею, словно прежний — войной не битый. Слово и нет никакой войны. И счастье безмерное стелется до самого горизонта. Такого же безбрежного, как и вся грядущая его жизнь.

## Книга вторая

### КРЕСТ

#### 19. Антиохия. В год консульства императора Марка Аврелия Проба и Паулина (277 год)

Расстаться с книгами было труднее всего. Жёлтые *иератические харты*<sup>14</sup> из Египта с начертаниями полных текстов “Книги мёртвых” и “Текстов пирамид”. За эти папирусы он отдал в Мемфисе всё своё жалованье за полгода, голодая и побираясь затем. Семнадцать из сорока двух книг Гермеса Трисмегиста, основа его *Corpus Hermeticum*<sup>15</sup>, с помощью которого только и возможно понять и изучить египетскую эзотерику, а в дополнение к ним редкий трактат “Асклепий”, научающий оживлять божественные статуи. Древние греческие дифтеры<sup>16</sup>. Десятки *defixionum tabellae* — табличек проклятий, которые скупал на базарах, а потом, скорее баловства ради, наводил порчу по начертанным на них именам. Десятки пергаментов, совсем новых, с учениями гностиков и неоплатоников, важнейшие из которых — все пятнадцать томов трактата “Против христиан” почитаемого им прежде Порфирия. Каждая из этих книг и текстов долгие годы наполняла Киприана особыми знаниями. Вдохновляла его. Учила. Воспитывала. И пусть, по нынешнему его пониманию, учения и мысли были сплошь ложными и греховными, всё же книги эти — не просто манускрипты и папирусы. Часть его жизни. Гуманистическая и просто материальная ценность. Тем более что некоторые из них, как совершенно точно знал Киприан, сохранились только у него в единственном экземпляре. Вопли сожаления не прекращались в душе и сердце его всё то время, пока сбрасывал в большую корзину из-под винограда эти сокровища. Да наполнял ими ещё две. А потом вместе со стариком сторожем волок всё это к повозке, запряжённой равнодушным мулом. Всё ещё можно было остановить. Вернуться.

Всю прошлую неделю безумная мать не выходила из своего кубикла, пребывая на полном попечении хлопотливой армянки Ануш, несколько раз предупреждавшей хозяйина о близящейся развязке. Старуха уже и не вставала. Целыми днями молчала. Дышала тяжко. Гадила под себя. И ничего, кроме горсточки вяленого винограда и кружки воды, не вкушала. Перед сном всякую ночь Киприан заходил в опочивальню матери, смотрел на её заострившийся профиль, на пряди седых волос, в беспорядке рассыпанные по подушке, на высохшую руку той, что взрастила его, баюкала, кормила и получала с заботой великой, а ныне была безжизненна и безразлична. Смотрел и думал: сколько ещё месяцев, дней, часов суждено им быть вместе? И не знал ответа при всей своей чародейской прозорливости.

А тут сама вдруг вышла из кубикла. Без поддержки. С потрясённой Ануш за спиной. Предстала как ни в чём не бывало, точно и не было этих



лет безумия. Хоть и смотрела на Киприана туманно, а руки тряслись по-прежнему, облик её наполнился прежней статью и благородством. Главою с аккуратно уложенными волосами и даже тонким слоем белил на лице прижалась к груди своего сына. И жаркие материнские слёзы окропили её долгожданным тёплым дождём. Киприан обнял мать, поражаясь, но не смея выказать радости от удивительного этого преобразования. И ощущая с каждым мгновением всё явственнее, как и собственное его сердце словно бы очищается, обнажается, становится мягче и слабей. А слёзы подступают всё ближе. И не дают вздохнуть.

— Мамочка, — молвил Киприан, задыхаясь, — я скоро приду. Вот дойду до храма и сразу вернусь. И мы вместе сядем за трапезу. Ануш приготовит свиное вымя. Ты ведь любишь его, мамочка? Сядем и славно поговорим. Ты только дождись меня, пожалуйста, мама!

Всю-то дорогу к христианскому храму, на поводу с повеселевшим внезапно мулом, тянущим крестьянскую повозку, набитую не луком, не утварью негодной, но сотнями ценных, не всякому доступных книг, Киприан раздумывал о причинах удивительного преобразования матери и о том ещё, что скажет епископу. И примет ли его христианский епископ?

Жёсткая серая власяница исколола тело его, а белым платком прикрывал он половину лица на манер кочующих измаильтян. Встречный люд узнать чародея не мог. Но всё одно расступался почтительно, уступая дорогу чудному страннику с повозкой, полной учёных книг. И даже уличный гомон странным образом стихал при его приближении.

Путь к храму — через Железные врата, по вымощенной велением иудейского царя Ирода дороге за городскими стенами, что ведёт в горы. Здесь, у подножия скального обрыва, неказист и неприметен в спасительных зарослях дикой ежевики и колочих шиповников, виднеется проход в христианскую церковь — низкий, заставляющий склониться входящего. После величественных святилищ языческих, украшенных дорогим мрамором, золотом, слоновой костью, обитель Господа показалась Киприану бедной юдолью сирийцев, что, пребывая в непрестанной нужде, селились на городских окраинах. Шагов тринадцать в пещерную глубину. Девять — в ширину. Четыре колонны серого туфа, такого же материала алтарь, укрытый домотканым покровом с литерами *INBI*<sup>7</sup>, с десяток глиняных светильников, каких не сыщешь в богатых антиохийских домах, но лишь в окраинных лачугах, стол ливанского кедра, скамьи кленовые, сколоченные на скорую руку кем-то из прихожан. Да деревянный крест над алтарём — безыскусный, немудрёный. “Скупая вера, — подумалось Киприану, — даже крест не могли изваять как следует”. Но тут же осёкся, осознавая, что за внешней простотой этой церкви стоит великая сила её Создателя — тоже ведь человека не кровей голубых, но духа высочайшего.

Пролом пещерный, два узких лаза под самым потолком и свет лампад озаряли церковь дрожащим сумеречным светом, в котором можно было различить не только скромное убранство её, но и согбенную фигуру старца, склонившегося возле глиняной лампы над манускриптом. Заслышав шарканье подошв у входа, он обернулся, не в силах различить тёмный силуэт. Поднялся с неожиданной для лет своих лёгкостью. Приблизился к незнакомцу с лампадой в руке. Но как только она осветила лицо Киприана, с ужасом отпрянул. Торопливо перекрестился.

— Изыди, семя бесовское, — вскричал загрохотом. — *Vade retro, Satana!*<sup>18</sup>

— Я — человек! — воскликнул Киприан, падая перед епископом ниц. — Человек грешный и кающийся...

— Нет тебе веры, — прервал епископ, гневно глядя в лицо чародея. — Много зла творишь ты между язычниками? оставь же в покое христиан, чтобы тебе не погибнуть в скором времени. Если ты ещё не погиб.

Слёзы хлынули из глаз Киприана при этих словах, от коих почувствовал он ту степень отчуждения и небрежения, что испытывал к нему не только христианский люд, но и большинство горожан Великой Антиохии, всю глубину поглотившей его пропасти человеческого грехопадения, из которой

даже белого света не видно. Только мрак. Смрад. Тление. Сущий ад. Ещё в этой, земной жизни.

— Бог ваш — Отец, но не судия, — проговорил наконец Киприан, поднимаясь с колен. — И разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Савл из Тарса не был ли гонителем христианского рода, прежде чем ослеп по дороге в Дамаск? Но призван Господом, наречён Павлом. И воздвигнут в апостольский чин. Трижды отрёкся от Спасителя апостол Пётр, но был прощён по раскаянии сердечном сей же день.

Не раз искушали епископа бесы. Вот и сейчас, узрев лик великого чародея, панибратствовавшего прежде с самим Сатаной, служившего ему и бесами его повелевавшего, испугался нешуточно. Раз посланец дьявола вторгается в Храм Господень, значит, рушатся стены его, а вера слаба. И брани духовной с исчадьем ада не избежать. Знал епископ, сколь изворотлив и хитёр князь тьмы. Встречался с ним множество раз и в пустыне иудейской, и во дворцах римских патрициев, в рощах языческих. Помнил он, как на берегу щелочного озера в Скитской пустыне заклинал беса петь песнь херувимскую. И тот запел, обрета вместо бесовского ангельский лик. Помнил юных дев, что приходили ещё в первый, порушенный ныне храм под личиною богомолка, но, когда он возвещал отпуст оглашенных, кричали дикими голосами, рычали, становась на колени, блевали фонтанами на прихожан и священство. Помнил и покаявшихся будто бы одержимых, постом и молитвою смиренных. Допущенных даже и к исповеди, и к евхаристии общей. За таких силы бесовские бились с настойчивостью отчаянной. Доводили до петли под сводами городских врат. До самосожжения. Или детоубийства. Иных страшных грехов.

А вдруг и Киприан, первый слуга Сатаны, губитель душ и града Антиохийского уничтожитель, лишь скрывается под личиною праведника? Вдруг и он пришёл сюда, чтобы погубить сами зачатки христианские, ибо где, как не в этом граде, само имя христиан впервые обрело свое нынешнее звучание? Вдруг козни лукавого настолько дальновидны и коварны, что само явление Киприана, фальшивые его раскаяния повлекут за собой гибель и всей церкви антиохийской? А такие благостные чувства, как сердоболие и сострадание, попросту отворят лазейку в твердыню крепости христианской? И отворит её не кто иной, как престарелый антиохийский епископ — страж и защитник. Но ведь Истину глаголет чародей. Святое Писание поминает безошибочно. И всё в речах его гладко да справно, словно и не чародей глаголет, а епископ многоопытный. Все эти тяжкие мысли переполняли разум Анфима, не позволяя принять единственно правильное решение. Но, как и в прежние времена, если в жизни его долгой случались подобные испытания, читал про себя чудотворную молитву: *“Сын Давидов Иисус, помилуй меня”*<sup>19</sup>. Так и сейчас, лишь только окончил Киприан речи свои покаянные, как епископ уже глядел на него пристально, испытующе, проникая взглядом своим, и чутким, и пронизательным, до самых глубин Киприановой души.

— Это что за повозка при дороге стоит? — спросил Анфим.

— Это книги, — ответил ему Киприан, — все мои колдовские книги.

— Сожги! — повелел епископ.

Тут и прихожане стали ко всеобщей подходить. Завидев в храме своём известного чародея, в страхе пятились к пролomu, толпились снаружи, обсуждая промеж собой столь странное знамение. Примолкли смиренно, когда Киприан вышел из храма, проследовал к повозке и принялся распрягать мула. Следом за ним и епископ — с большой лампадой в руке. Следил со вниманием, как трудится чародей. Отстёгивает подругу, уздечку кожаную с удилами снимает, хомут, постромки. Укладывает всю эту упряжь пред ногами епископа, сообщая тем самым, что отныне она в его распоряжении. Да и сам мул тоже. Молча взял из рук владыки лампаду. Слил масло на один из томов Триемегиста. Подпалил от трепетного огонька, едва теплящегося над фитильком. Напитанный маслом пергамент вспыхнул не сразу, по одной уничтожая магические литеры, выведенные на телячьей коже.

Постепенно сила огня крепла, поглощая и соседние литеры, и целые слова. Вскоре и страницы, извиваясь и сворачиваясь, полыхали в столбах

рыжего пламени. И целые книги, которым суждено навечно исчезнуть в топке погребального этого костра, стирая из человеческой памяти и истории сокровенные знания поколений волхвов. Книжная память куда дольше людской. Манускрипты хранятся столетиями, сообщая новым поколениям человечества мысли и переживания прошлых эпох, соединяя эпохи едва уловимыми нитями. Обрыв даже одной из таких нитей — безвозвратная утеря связи с ушедшей эпохой.

Сколько мыслей и слов, явных или тайных познаний утратило человечество по собственной оплошности или злему умыслу — не счесть! А сколько ещё потеряет?!

Огонь праведный пожирал книги с жадностью. Дыбился к небу, выплевывая в низкие облака жирную смоляную отрыжку, рыжие языки жаркого пыла, антрацитную копоть и дым. Уже и сама повозка занялась. Трещит победно, весело. Но вот вздрогнула. И покатила сама собою вниз под уклон с пылающей своею поклажей. И чем быстрее катилась она, тем жарче и яростнее разгорался книжный огонь, оставляя за повозкой смердящий искрящийся шлейф. И мчалась бы так до самой стены, если бы не горделивая колонна с бронзовой волчицей, вскармливающей своим молоком Ромула и Рема — символ имперской власти, воздвигнутый здесь ещё при Тиберии. Огненная повозка врзалась в царственную колонну и рассыпалась. И теперь опаляла её со всех сторон и дымом коптила, покуда не сделался мрамор белоснежный подобен ночи, а бронзовые младенцы не покрылись испариной расплавленного металла.

Христиане следили за пожарищем этим неотрывно. Иные крестились. Другие вздыхали и даже пустили слезу при виде языческих книг, огнём своим пожирающих символы имперской власти. И только епископ Анфим узрел в этом знамение будущих перемен.

— Так и власть Рима падёт, и вера его, спалённая рукой христианина, пойдёт прахом, — проговорил он чуть слышно. Перекрестился и просиял.

*“Всякий приходящий во имя Господне пусть будет принят; а потом, испытав его, вы узнаете, правильно [это было] или ошибочно — ведь в вас есть благоразумие”*, — сказано в Дидахе<sup>20</sup> и самую жизнь подтверждено.

Другим днём явился Киприан на службу праздничную, воскресную прежде всех, засветло. Вошёл в храм, пустой и оттого особенно гулкий, волнуемый мраком своим. Возжег светильник да несколько свечей, что принёс из дома, прямо пред алтарём. Поставил на стол полную корзину пресных духовитых хлебов, которые напекли с утра Ануш вместе с его матерью, казалось бы, совсем оправившейся от тягостного недуга. И вино в кувшине. Терпкое. Старое.

Здесь, в пустынном христианском храме, в котором не было ничего, кроме трепетного света огня, слабого свечения дня сквозь крохотные оконца под сводами и рукотворного креста над алтарём, где властвует благоговейное единение и Господь слышит самые потаённые твои слова, даже если не произносишь их, но только помышляешь, Сам Господь уже помыслил за тебя и ныне только ждёт принять душу твою и сердце в Свои благие объятия. И спасти.

Устроившись на простой, не слишком удобной скамейке напротив алтаря, поверх которого теперь трепетал живой огонёк масляного светильника, склонив голову долу, сидел Киприан с тихой, неторопливой молитвой в сердце, с таким же трепетным, как огонёк, желанием услышать Господа, распознать голос Его среди других голосов, будоражащих его душу. Но Спаситель молчал. И тогда Киприан принялся говорить сам. Он рассказывал Иисусу Христу о своём языческом детстве, об отрочестве, проведённом в святилище сивиллы Манто, об убитой волчице и первой встрече с князем тьмы, о странствиях своих и колдовских школах, об искушениях страшных, коим он подвергал даже собственное семейство, не говоря уже о простом люде, о благочестивой девице Иустине, которую не только искушал, но и принуждал при содействии бесовских сил к череде грехопадений. Голос внутренний, мысль человеческая, запечатлённые в душе образы куда скорее людской речи. Кажется, вся жизнь Киприана промелькнула перед мысленным

его взором во время исповеди сокровенной пред самим Спасителем. И вновь полились из глаз Киприана слёзы. И тяжкий стон полился из его груди. Простит ли Господь? Избавит ли от горьких этих страданий, от пудовых валунов греха, что давили на сердце и душу могильной плитой? Этому Киприан не знал. Не дали и того, услышал ли исповедь его Господь. Но верил. Страстно верил, что хотя бы толика сокрушения коснётся Божественного слуха, хотя бы один из сонма грехов прощён будет. И станет наградой ему даже не спасение, но хотя бы возможность спастись.

— Когда греховность наша, — послышалось вдруг позади него, — достигла своего предела и стало ясно, что её последствия, наказание и смерть тяготуют над нами... Сам Бог взял на Себя бремя наших преступлений.

Голос, бесстрастный и ровный, словно лунная дорожка на воде, слышался совсем рядом, за спиной Киприана, однако тот и обернуться страшился, чая увидеть перед собою очи Спасителя. Сердце колотилось зайчишкой загнанным. Дыхание то и дело перехватывало жёстким спазмом. Смиренно слушал. А тот продолжал:

— Он отдал Своего собственного Сына в выкуп за нас, Святого — за преступников, Безгрешного — за злодеев, Праведного — за неправедных, Нетленного — за тленных, Бессмертного — за смертных. Ибо что иное могло покрыть наши грехи, кроме Его праведности? Как иначе могли бы мы, грешные и нечестивые, быть оправданы, если не через Божьего Сына? О сладкая замена! О несравненное деяние! О блага, превосходящие всякое ожидание! Греховность многих скрыта праведностью Единственного, а праведность Единственного оправдала многих преступников!

Голос угас. И лёгкая рука опустилась на плечо Киприана. То был епископ Анфим. Льняной хитон. Поношенный. Многожды зашитый. Местами, особенно понизу, протёртый от долгого стояния на коленопреклоненной молитве. Серый куколь с альми крестами по краю. Стоптаные сандалии. Сморщенное, словно вяленная на солнце груша, лицо. Всклоченная седина волос. Взгляд, налитанный отеческой любовью.

— Как ты сокровенное понял? — спросил его Киприан, поражённый тем, что священник, пусть даже отличающийся своей прозорливостью, сподобился проникнуть незримо в самую сущность его молитвы, понять слова, обращённые к Господу.

— Новорождённого как не заметить, — молвил епископ с улыбкой, приобняв Киприана за плечо. — Ибо ныне первый день оставшейся жизни твоей.

Прихожан на воскресную службу собралось в тот день больше обычного. По причине праздника, прежде всего, да и поглядеть на покаяние великого чародея каждому хотелось. Хоть он и чародей, но и он пред Господом колени преклоняет. Это ли не чудо? Это ли не доказательство Его величия?

Зажгли десятки лампад. Свечи. Храм озарился светом множества мерцающих огоньков, низводящих и в храм, и в человеческие души тёплый уют. Певчие — в хитонах ангельской чистоты. С благоговейными лицами. Устремлённые на долгую службу. К херувимскому славословию, псалмопению, что невидимой нитью связывает молящегося с Господом, Который и Сам подаёт нам пример единым с Апостолами песнопением по окончании Тайной вечери. Призрачный синий дымок поднимается ввысь. И клубится, танцует медленно в лучах восходящего солнца, пробивающихся сквозь оконца. Ароматами ладана сладкого ливанского полнится храм. Исполнен сосредоточенности епископ. Молчалив. Устремлён внутренним взором в сердце своё, а душой, должно быть, в вершины горние. Одноглазый дьякон Феликс зыркает, скользит по лицам прихожан. Кому-то улыбается широко, кивает даже. Мимо других проскальзывает взглядом. На Киприане задержался мгновением больше. И лицо его, и единственный глаз затуманились. Будто туча грозовая укутала сердце дьякона. А среди пришедших сегодня на Божественную литургию христиан кого только нет! Атлетического сложения Тимофей, имевший несколько золотых венков за победу в панкратионе на Олимпийских ристалищах в Дафне. А с ним и Пантелеймон, возница победных квадриг в трёх сезонах на местном ипподроме. Сладкоголосая Клементина, чьё пение услаждало слух императоров, а до недавнего времени и языческих богов в храме

Зевса. Персы с серьгами в ушах, со смуглой кожей, доставшейся им в наследство от странников пустыни, не единожды битые да гонимые, но по какой-то чудодейственной случайности обжившиеся в восточной столице империи и промысляющие успешно кузнечным делом, резьбой искусной да торговством. Двое не известных Киприану римлян, судя по всему, раторов или чиновников среднего ранга, одетых по последней столичной моде, с кожаными перевязями чрез шафрановые туники, с завезёнными из Германии шейными платками. Сразу видно, что в новую веру обращены совсем недавно. Настороженно оглядываются по сторонам. Сосредоточиться на молитве не в силах. Страшатыся ли быть опознанными в христианском храме, потерять место, свободу или самое жизнь, коей лишилось уже немало последователей Христа? А сколько ещё лишатыся! Проникнутые ненавистью и жестокосердием эдикты императора Деция позволяли лишатыся заподозренных в исповедовании христианства чиновников всего имущества и ссылатыся на общественные работы. Сенаторов так и вовсе казнить. Сколь же сильна была вера этих людей, если даже под страхом смерти шли к литургии, причащались Святых Тайн! Несколько евреев из тех, что выжили и обосновались тут после погромов и, позабыв за давностью лет собственную веру, видя, как на месте синагог возводятся языческие капища, примкнули теперь к христианам. Следование Закону церкви Христовой для еврейской души значительно понятнее, чем поклонение сонму летающих, рычащих и мечущих молнии мужчин и женщин языческой мифологии. Земля обетованная, кровь иудейская, единый Бог Саваоф да непрестанный поиск истины единили две веры, точно двух сыновей от одного отца, но матерей разных. Ведь и чтение Евангелия, и Дидахе, и пение Псалмов, и таинство Крещения, и Часы, и преломление хлебов, и даже сами слова “аллилуйа” и “аминь” имеют иудейские корни. Да и апостол Павел, если верить “Деяниям Святых Апостолов”, именовал себя фарисеем. И самого Христа евангелист звал “назир”<sup>21</sup>.

А вот и вовсе простой люд — без роду, без племени — толпится при входе. Сандалии стоптаны, нагота укрыта одной лишь грубой мешковиной или даже тряпичами ветхими; люд нечёсаный, давно не мытый и оттого источающий кислый запах запущенной нищеты. У кого-то вырваны ноздри. У иных клеймён лоб. Двое с отсечёнными за кражу руками. Истошённая женщина с отвислыми грудями с жадностью смотрит на хлеб. Глотает слону. Очами сверкает в безумии, различая в нём не Тело Христово, но добычу. Другая покрыта коростой гноящейся. Хотя и телом, и светом, струящимся из глаз её, выдает натуру изысканную. Рядом с нею, ухватившись за руку, покрытую змеиной кожей, мальчик годов пяти, в котором — и былая свежесть, и прежняя красота матери, и такой же проникновенный взгляд. Но вот беда, ножка у ребёнка всего одна. То ли родился таким уродцем, то ли потерял по материнскому ли, отцовскому ли недосмотру. Появись вся эта нищета на городском форуме или ипподроме, или в священной дафнийской роще ненароком, были бы тут же изгнаны ликторами, биты нещадно и получили бы наказ впредь не помышлять о подобном своеволии. А тут никто их не гнал. И даже не сторонился брезгливо, хотя дорогие хитоны именитых граждан то и дело ласкались с мешковиной городской нищеты.

Первый луч света пробился сквозь оконце под сводами храма и позолотил фигуру епископа. Сделалось тихо. Словно не храм это, а могильный склеп.

— Помолитесь! — прогудел дьякон Феликс, вновь зыркнув одиноким глазом на Киприана.

— Господи, помилуй! — многожды повторяя, голосами то возвышаясь, то падая, затагнули псалмопевцы. Молитва эта краткая, как круги по воде от брошенного в неё камня, распространяла и в человеческой душе божественное, восхитительное кружение.

— Благодарим Тя, и паки благодарим усердно, Господи, Боже наш, Отче Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, за вся благодеяния Твоя на всяком времени и месте, — произнёс епископ. — Ты бо защищаеши, спасаеши, помогаеши и наставляеши нас во вся дни жизни наша. Ты бо привел еси нас в настоящий час, сподобив предстати пред Тобою во святем храме

Твоем, да испросим прощение прегрешений наших и милость всему народу Твоему.

Просим и молим Тя, милостивый Боже, даруй нам по благодати Твоей прийти день сей святыи и вся дни жития нашего без греха, в совершенней радости, здравии, безо всякаго вреда, во святости и преподобии Твоем. Всякую же зависть, всякий страх, всякое искушение и действие сатаны, и всякое коварство злых людей, Господи, отжени от нас и от Святой Твоей Соборной и Апостольской Церкви. Даруй нам, Господи, вся благая и праведная. Всякий грех, содеянный нами или словом, или делом, или помышлением, прости нам по велицей Твоей милости. Не остави нас, Господи, уповающих на Тя, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго и рабства его, чрез благодать, милость и любовь Единороднаго Твоего Сына. — А затем громко и восторженно возглашая: — Чрез Него и с Ним Тебе сила и слава подобает, со Пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

— Аминь! — подхватили глас его псалмопевцы.

Никогда прежде не слышал Киприан христианской литургии, какую заповедовал своим последователям Евангелист Марк, да и никаких иных никогда не слышал. Прежде знал наизусть только языческие вакханалии с грохотом тамбуринов, звоном кимвалов, кровью и стонами жертвенных животных, во всем удовлетворённой толпы. Здесь — всё иное. Сладость ладана. Трепетные звуки песнопений, что хороводили душу твою до сладостного изнеможения. Размеренный голос священника, призывающий к милости, добросердию и любви. Сама суть Божественной литургии, нравственный её накал, мистический смысл производили над душой Киприана невидимый труд, если можно так сказать, нравственное усердие, от которого и душа, и сердце его смирялись, смягчались, становились чуткими и как бы обнажёнными. Псалмы дивные перемежались чтением книг библейских Иисуса Навина и Царств, единящих слушающих их с временами Ветхозаветными. И со сравнительно недавними, в которые жил Спаситель, а затем и Апостолы — чрез чтение святого Евангелия. Единение это мистическое с далёким прошлым, новозаветными временами и неведомым будущим буквально сквозило в каждой произнесённой молитве, в каждом слове, пронизывающем вселенскую материю невидимой иглой, сшивающей воедино пространство и время, подчиняя себе таким образом день нынешний, даже малое его мгновение, с необъятной вечностью Царствия Небесного.

— Боже вечный, Агнче Божий, Сыне Отець, вземляй грехи мира, помилуй нас... Яко ты еси един свят, Ты еси един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, — вознесли тут гласы свои певчие, и словно осветился храм изнутри и снаружи чистейшим светом, словно и сам он теперь уже и не склеп с покойниками, но вознесшийся ввысь ковчег.

Час прошёл, а может, и более. Времени Киприан не замечал. Стоял поодаль у стены с закрытыми глазами, как в чудесном сне пребывая, до того самого мгновения, покуда дьякон не огласил окончание литургии оглашенных: “Елицы оглашении, изыдите”. В храме воцарилась тишина. И когда Киприан отворил глаза, то увидел обращённые к нему взгляды. Он был тут один некрещёным. Но этого не знал. Не понимал этих вопросительных взглядов.

— Я — раб Христов, — молвил Киприан в абсолютной тиши. — Не изгоняйте меня отсюда.

— Так как над тобою ещё не совершено святое крещение, ты должен выйти из храма, — ответил ему Феликс, комкая взгляд.

— Жив Христос, Бог мой, избавивший меня от диавола, сохранивший девицу Иустину чистою и помиловавший меня. Не изгонишь меня из церкви, пока я стану совершенным христианином.

— ...истинно, истинно говорю тебе, — прогудел тут властно в ответ дьякону епископ Анфим, — если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. — Сошёл с амвона решительно и направился к Киприану. — Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех демонов его, и всего служения его, и всяя гордыни его?

- Отрицаюся, — проговорил Киприан.
- Сочетаваеши ли ся Христу?
- Сочетаваюся.

С удивлением взирал народ на своего епископа. Уж не собирается ли он в самом деле, в нарушение всяческого устава, без обязательного *оглашения*, что длится для всякого новообращённого по несколько месяцев, без догляда крепкого, без исповеди общей пред всем честным людом и даже без крещенской воды, что протекала горным родничком в часе ходьбы отсюда, крестить кудесника? Но Анфим и не думал отступать от задуманного. Поставил Киприана пред алтарём. Прежде повелел снять власяницу. Куколь. Тот повиновался беспрекословно и теперь стоял пред Престолом Господа как есть, нагой, с набедренной повязкой *subligaculum*, прикрывающей срам. Дрожал мелкой дрожью. От пещерного хлада. И от того прежде всего, что в жизни его сейчас случится, быть может, самое главное событие. Второе его рождение. И от того, что даже пред Престолом тьма внутри него всё ещё шевелилась. Ещё дышала и стонала в ожидании скорого расставания. За неимением поблизости того самого крестильного родника и купели, которую в храме только задумывали построить, взял епископ со стола глиняный *конгиарий*<sup>22</sup> с широким горлышком, заткнутым ветошью. Отворил. И троекратно, возгласив каждый раз “Аллилуйя”, коротким крестом пролил на воду драгоценный елей из стеклянного флакона, что носил с собою постоянно в мешке на поясе хитона. Тем же ароматным маслом начертал кресты на челе, на руках, на ушах и ногах крещаемого:

— Елеем радости помазывается Раб Божий Киприан. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Дрожь внутри Раба Божьего стала сильнее. Его чуть ли не трясло от той погибающей дьявольской силы, что владела им все эти годы, а теперь Словом Божиим и Святым Крещением изгонялась прочь. Глядя на это и лицом ничуть не меняясь, поднял Анфим глиняный конгиарий. Обрушил на чело Киприана ледяной поток ароматной воды.

— Крещается Раб Божий Киприан во имя Отца... — властно гудел епископ, опять окатывая его водой, — ...и Сына... — окатил в третий раз всею водой без остатка, — ...и Святого Духа! Аминь!

Последняя капелька крещенской воды — чистая, точно горный хрусталь, освящённая и исполненная силой Христовой, слезой Спасителя упала в темечко убитого чародея, возрождая в нём нового человека.

— *На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё — Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведёшь меня из этой сети, которую скрыли для меня, ибо Ты — защитник мой, Господи*<sup>23</sup>.

Голоса ангельские будто тёплыми струями плыли по храму. Накрывали с головой. Проникали в сердечную бездну, пробуждая в ней радость неведомую, чистую — природы вовсе не земной, но вышней. Такие точно чувства, давно позабытые, Киприан испытывал только в невинном детстве своём, когда, простудившись на зимнем карфагенском ветру, лежал в объятиях матери — в тепле, надёжности и безусловной любви. Любовь! Именно она входила в его сердце со словами Псалма Давида.

— *В руки Твои предам дух мой, — изливали душевную патоку псалмопевцы, — Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впус- тую соблюдающих суетное; но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призрел на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои — в стенах; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись.*

*Для всех врагов моих я стал поношением, и особенно — для соседей моих, и ужасом — для знакомых моих, видящие меня вне дома бежали от меня*<sup>24</sup>.

*“Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Моё над тобою”*<sup>25</sup>, — слова эти, аки свет Александрийского маяка, вдруг осветили грядущий путь Киприана. Казалось, Сам Господь направил его на путь истины. И возликовал вместе с ним.

Рубаху кипенно-снежную надевают. Миром драгоценным, напитанным запахами аира, коричника, смирины мажет епископ глаза, лоб, уши, уста. И всякий раз повторяет: “Печать дара Духа Святого. Аминь”. Мир густой слезой стекает со лба. С глаз. Щекочет щёки. И сами собою расплываются в улыбке уста. Необъяснимая, беспричинная радость переполняет всего Киприана от макушки до пят. Хочется петь. Кричать безудержно, изливая на всякую, даже самую крохотную тварь, на каждого встречного-поперечного и на весь этот мир безграничную лучезарную радость. Да и епископ, глядь, улыбается. И дьякон Феликс светится единственным своим глазом. И народ — богатые и нищие, увечные, и лощёные — всяк источает любовь и радость. Словно цветы на весеннем лугу. Птицы беспечные на заре. Прозрачные тельцем мотыльки-однодневки, для которых и сама жизнь короче суток, и те толкут воздуха радостно и беззаботно. Видать, для того только и создал их Господь!

Анфим между тем уж омыл свои руки и вновь вернулся к амвону для прочтения проповеди, к которой готовился с прошлой ночи. Сегодня он хотел сказать людям о покаянии.

— Скажу вам, что покаяние — указанное и заповеданное нам благодарью Божьею, вновь призывает во благодать Господа, — раз познанное и принятое никогда после этого не должно быть отвергаемо повторением грехов. Уже никакое прикрытие неведением не извиняет тебя в том, что, позвавши Господа и принявши Его заповеди, наконец покаявшись во грехах, ты вновь предаешься грехам. Значит, чем больше ты далёк от неведения, тем более ты погрязашь в упорстве. Если твоё покаяние имеет основу в том, что ты начал бояться Господа, то почему ты пожелал уничтожить то, что делал ради страха, как не потому, что ты перестал бояться? Ибо не иная причина изгоняет страх, как упорство. Если даже не ведающих Господа не может спасти от наказания никакая отговорка, ибо непозволительно не звать Бога, ясно открытого и познаваемого из самих небесных благ, то насколько же опасно пренебрегать Богом, Которого познали. А пренебрегает тот, кто, получивши от Него познание добра и зла, вновь возвращается к тому, чего он научился избегать и уже избегал, и, таким образом, посрамляет познание своё, то есть дар Божий: он отвергает Даятеля, пренебрегши даянием; он отрицает благодеяние, не оказывая чести благодеянию. Каким образом он может быть угодным Тому, Кого дар он презрит? Так, в отношении к Господу он является не только непокорным, но и неблагоприятным. Немало согрешает против Господа далее тот, кто, отрехшись в покаянии от врага Божия — дьявола — и покоровшись потому его Богу, вновь своим падением его возвышает и делает себя предметом его радости, так что лукавый, вновь возвративши свою добычу, радуется в противность Богу. Не страшно ли даже сказать, а для назидания нужно сказать: он предпочитает Богу дьявола! Ибо кажется, что тот произвёл сражение, кто познал обоих, и что, по обсуждению, он признал лучшим того, коему пожелал вновь принадлежать. Таким образом, кто чрез покаяние во грехах решил принести удовлетворение Богу, тот чрез другое покаяние — покаяние о (своём) покаянии приносил бы удовлетворение дьяволу и тем более был бы враждебен Богу, чем угоднее Его врагу.

Говорил епископ размеренно, выстраивая каждую фразу на догматический манер, не требующей возражений или дискуссий. Голос его зычный звучал в храме всё громче, ниспадал со сводов, слышался, казалось, даже за пределами храма, а может, и за пределами городских стен. Прихожане слушали его со вниманием трепетным. Молча. Затаённо. Иные лишь слегка прикрыли очи в оцепенении. А те потупили взор, осознавая свою многократно исповеданную греховность.

Литургия верных, на которой Киприан стоял ныне в числе призванных и избранных, длилась долго. Благоухал ладан в углях. Пел псалмы ветхозаветные хор. Дьякон выносил Евангелие. А епископ его в голос читал.



Благословлял хлеб и вино. Свершал над ними проскомидию. Тихо, едва различимо повторял и повторял тайные молитвы, что чудесным образом превращали хлеб и вино в Тело и Кровь Господню. А там и до Евхаристии рукой подать.

К агапе сходились в молчании. Шаркали сандалиями по полу. Скрипели деревом лавок, рассаживаясь вокруг стола. Наконец устроились, оставив почётное место в центре стола для епископа и ещё одно, подле него, — пустым, поскольку на месте этом незримо присутствовал теперь с ними и Сам Спаситель. Сутью своей агапа напоминала всем собравшимся в ней о Тайной вечере, последней трапезе, что провёл Христос с учениками своими, где и зародилось таинство это, соединяющее человека с Господом, делающее и его Божественным.

Наполнили глиняные чаши. Точно такие же, как и во дни той самой вечера двести шестьдесят лет назад. Может, и вином тем же самым, что сотворяли виноделы Иудеи, а теперь торгуют им по всем восточным провинциям Империи. Хлеб такой же — замешанный на родниковой воде, на муке из ячменя с сирийских полей. Испечён в печи. Даже угольки кое-где в корочке запеклись. И вот надломлены. Испиты. Исполнены Духом Святым. Благословенны Именем и Словом Господним. Аминь.

### **Кондак 10**

Спасти хотя души всех одержимых нечистыми духами, не преставал еси зывать ко Господу, священномучениче Киприане, тебе бо дадеся благодать молиться за ны, да помилованы и очищены воспоем Богу: Аллилуиа.

### **Икос 10**

Стена твердая и крепкая ограда буди нам, священномучениче Киприане, от враг видимых и невидимых, с теплою верою и любовию к тебе прибегающих, да ограждаемы и спасаемы тобою, воспоем ти сице: Радуйся, смирением духов злобы победивый; Радуйся, огнем молитвы стрелы вражия попавивый. Радуйся, от враг видимых и невидимых стено и ограждение; Радуйся, Православныя Церкви преславное украшение. Радуйся, оставленным врачами предивное поможение; Радуйся, прелюбимое скорбящих утешение. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## **20. Москва. Июнь — октябрь 1991 года**

Жива была покуда великая страна, но уже немощна. То тут, то там дыбились на площадях записные болтуны, убеждающие народы в радостях самостоятельности. Трещала по швам увязанная, переплетённая тысячами взаимосвязей экономика. Армия и флот, что за сотни лет до того императорами русскими назывались единственными союзниками, ныне значились в на хлебниках и дармоедах. Союзниками же почитался некий “цивилизованный мир”, большинству населения Союза вовсе не ведомый, но почитаемый за колбасу его, жвачку и шипучку — все эти дешёвые атрибуты общества потребления. Почиталось нарождающееся сословие кооператоров — совсем ещё диких и мелкотравчатых, но уже несказанно жадных и подлых, готовых собственную мать, отчий дом в ломбард заложить, а уж Родину и подавно! Глубокий тектонический слом рушил страну всё глубже и дальше. Ввергал людей в отчаяние и уныние. Опутывал города очередями. Гнал на площади протестовать против партии и власти, наивно полагая, что новая власть будет лучше прежней, дарует им вожделенную колбасу и свободу, от которых у русского человека, как известно, сплошной понос. И вовсе не потому, что свобода и колбаса плохи, а оттого, что намешают у нас в них по привычке всяческой дряни, суррогатов, эрзаца. Вот и не справляется организм. Газеты с телевизором несли во всякий дом блуд да грех. Травили дустом пропаганды прошлое великой страны, вытаскивали на свет Божий всяческий срам и позор, подчас надуманный, лукавый, после чего и жить в такой стране не

хотелось, а уж гордиться ею — тем более. Два года назад вывели из Афганистана по мосту Хайратон последних солдат, объявляя с высоких трибун войну эту позорной и никому не нужной. А следовательно, припечатывая тысячи её солдат позорным клеймом “оккупант”. Ввергая и их, присягнувших на верность великой стране и присягу эту исполнивших, часто ценою собственной жизни, в пучину тектонического разрушения. Предавая их дивизиями ни за грош.

Майор Харитонов через фонд ветеранов Афганистана получит доступ к беспошлинной торговле водкой и сигаретами, наживёт на этом сказочные барыши, станет депутатом Государственной думы да на всякий случай прикупит себе и всему своему семейству гражданство иноземное, островное. Только ни паспорт чужой, ни шальные, у своих же ребят-ветеранов похищенные и упрятанные в офшор деньги счастливей не сделают и здоровья не даруют. Завелась в мозгу его опухоль злокачественная. Иссошила. Истерзала майора, как не терзал его даже злой душман. Помер боевой офицер в отчаянии и смятении души хоть и на удобной койке заграничного госпиталя, но в окружении ненасытной родни, в нетерпении алчном и с притворной заботой о муках его потребовавшей отключить Витьку от аппаратов, соединяющих его с этим миром. Жизнерадостного Верунчика за дела его лихие, за грехи его, погубленные души заманят хитростью такие же лихоимцы на лесопункт в Кировской области да тут и распилят кусками на ленточной пилораме.

Военврач Владимир Петрович, что ампутировал Сашкины ноги, вернулся в Москву, с его-то хирургическим опытом не сразу работу нашёл, а поначалу торговал в Лужниках женскими сапогами. Второй хирург, Сурен Оганесян, возвратился в родной Баку, где и был убит топором в собственной квартире во время январских погромов девяностого года. Анестезиолог Вахтанг Георгиевич в мирной жизни сделался сторонником Гамсахурдиа. Истово молился за Грузию, жаждал свободы, митинговал с душой, за что и получил однажды булыжником по лобной части черепа. Затих с тех пор Вахтанг Георгиевич на веки вечные. Улыбался. И лишь иногда бормотал нечто несвязное. Медсестра Серафима вышла замуж за итальянского военного репортёра, который увёз её к родителям на Сицилию, в большой деревенский дом, увитый хмелем и фиолетовыми глициниями. Родила от него трёх ребятшек, а к сорока годам осталась вдовой, поскольку репортёр пропал без вести в Сомали.

Сашка, в отличие от однополчан, от тех, с кем на короткое время сблизил его война, казалось бы, смотрелся счастливчиком. После академии поступил на службу в штаб ВВС столичного округа. Демонстрировали героя нашего времени на всевозможных собраниях и празднествах, поскольку герой не только исправно носил парадный мундир и ходил строевым на протезах, так ещё и песни чувствительные пел под гитару. Комсомольцы пронырливые опять же с него не слезали, то и дело призывая на военно-патриотическое воспитание. Нашлись доброхоты, теперь уж и не понять, по воинскому ли, по комсомольскому ведомству, выдвинули Сашку на геройское звание. Бумаги, как и положено, через наградное управление легли на стол Горбачёву. А тот и подписал. Так и сделался Сашка Героем СССР. Предпоследним. Последним выпала честь какому-то водолазу.

Хочешь не хочешь, а геройская “Звезда” на кителе, подобно волшебному золотому ключику из сказки, отворяет многие дверцы высоких кабинетов, диафрагмы фото- и видеокамер, выстраивает перед тобою целую очередь новых знакомцев, служников небескорыстных, возможности открывает, о которых прежде и не мечталось. И это не говоря уже о восхищённых взглядах, о придыхании женском, почтительных взорах мужчин, в том числе и немолодых, умудрённых жизнью. Вот какова сила этой “Звезды”! Но есть в ней ещё одна сила, подчас незримая и даже собственным сердцем не ощущаемая, действующая, однако, ползуче, неотступно. И так же неотступно сердце опустошающая, изъедающая, будто кислота ядовитая, душу твою. Имя силе этой — гордыня. И не каждому с ней совладать. Вот и Сашка ходил теперь гоголем. Напускал во взгляд библейской мудрости. Разговаривал

степенно, подбирая слова весомые, избавляясь от шелухи разговорной. Всё его существо, все внутренние его голоса подсказывали ему соответствовать новому положению, быть его достойным и в привычках, и в поведении, и в облике, как заповедовал драматург Чехов. Со временем он и взаправду поверил, что стал героем. А отсюда и до праведника недалеко.

Страсти по демократии приволокли его в Болшево и в другой раз. В стране как раз объявили государственный переворот, обозначенный его вождями как чрезвычайное положение, а поскольку русский народ к таким событиям относится с энтузиазмом, то, позабыв о всяком ином деле и даже о собственных семьях, принялся кучковаться в боевые отряды для спасения президента да возводить баррикады в защиту Белого дома. Новоиспечённый герой — в первых колоннах. Со взором горящим. С воплями о погибели от рук ГКЧП демократии. Тут и главный демократический рупор припомнился — журнал “Огонек”. Лунатик вспомнился. Пророчица Лиля. Спиритические сходки по пятницам.

Возле заброшенного сада, сплошь заросшего дурной травой, лианами девичьего винограда, устланного ковром гниющих паданцев яблок и груш, которые никто и никогда не собирал, уже притулилось несколько автомобилей, среди которых несколько иноземных, гладеньких. “Летучая мышь” довоенного производства ярким керосиновым светом освещала и ветхий садовый стол, на котором стояла, и дверь, в которую следовало войти вновь прибывшим. Дверь открывалась, как и положено старым дачным дверям, со скрипом ржавой пружины. В комнате, где прежде встречался с Лунатиком, как и прежде, было темно, драпировано глухо. И только с верхнего этажа струился какой-то жидкий молочный свет. Лестница стонала под каждым шагом героя недужно, хворо. А молочная жижа обволакивала его со всех сторон.

Комната, в которую он поднялся, оказалась совсем не большой, какой-то даже игрушечной. Жарко пылал камин, сложенный из огнеупорного кирпича. Два десятка свечей плавилась в кованных прибалтийских подсвечниках. Чучело филина восседало на дубовой ветке, произрастающей прямо из стены. На полу — медвежья шкура с длинными когтями, отверстой хищной пастью, глазками стеклянными. Книги повсюду: в нескольких шкафах у стен, на полу, на столике из карельской берёзы, на подоконниках. Были тут и древние фолианты в кожаных переплётах с готическими литерами поблекшей позолоты по корешкам. И бесценные средневековые инкунабулы, каких и в европейских библиотеках не слишком много, не говоря уже о советских. И даже “Трактат о приятных впечатлениях” рабби Дов Бера, не иначе как похищенный из библиотеки Шнейерсона.

Вокруг овального орехового стола восседало несколько личностей творческой наружности. Худощавый мужчина с колочим, скачущим взглядом, стальной проседью в усиках и волосах, остриженных ёжиком. Было в нём нечто подлое, лицемерное, такое, от чего хочется залезть под стол. Рядом — женщина в годах с окрашенной синькой сединой, коралловой помадой на тонких губах, оставляющей кровавые следы на папиросном мундштуке. Глаз её, скрытых под затуманенными стёклами очков, не различить. Старости рук под чёрными кружевами перчаток — не увидеть. Грузный одышливо молодой человек с ранними залысынами, в жилетке твидовой и таком же добротном твидовом пиджаке, с трубкой бриаровской в руке, с крупным золотым перстнем на безымянном пальце, не иначе как отождествлял себя с “красным графом” Алексеем Толстым. И не без оснований. Сходство внешнее и правда имелось. Обок — женщина неясного возраста, выдающая себя за подростка. Косички торчком. Бусики из розовых пластиковых сердечек. Мачека с аппликацией LOVE, под которой скрывались не по-детски отвисшие груди. Руку её в переплетениях синих вен под тонкой кожей вождельно сжимал Лунатик. Иссушал взглядом. Во главе стола — сама чаровница Лиля. Тёмные её волосы тяжёлыми крупными локонами ниспадали на плечи. Глаза, спелые черешни, глубоки, пробираются в недра душевные молниеносно, без церемоний и всякого спросу. Во взгляде их и насмешка, и сладость, чувствуешь в нём песочную сушь пустынь, угольный огонь и в то же время какую-то непостижимую, почти родственную близость, которой доверяешь

беспрекословно и сразу. Губы у неё слегка припухлые, без признаков краски, а оттого обветренные и отчего-то особо желанные. Пальцы тонкие со ртутным блеском нескольких колец. Кожа смуглая, матовая, без малейших изъянов. Во всём облике Лили было нечто арамейское, древнее — из той самой поры, когда меж людей ещё жили апостолы и пророки. А сами люди только обретали веру, которую будут хранить почти две тысячи лет. Было в образе её что-то от Марии Магдалины кисти Эль Греко, Мурильо и Тициана. Но Марии грешной, ещё не кающейся, не повстречавшей Христа. Вошедшего рассматривала Лили недолго. Кивнула согласно, приглашая устроиться за столом на единственном свободном стуле подле Лунатика с пассивой.

Посреди стола — фанерная доска с алфавитом, цифрами от нуля до девяти, печатями Бафомета, черепами, словами “да”, “нет” и “прощай”. С бегунком фанерным же, звездой перевёрнутой украшенным. Никогда прежде не видал Сашка, как вызывают духов из преисподней, а потому решил поначалу, что народ этот собрался за столом просто выпить да посудачить о пучке, который ныне обсуждали в каждом московском доме. Но про путчистов, про Горбачёва, заключённого в Форосе, никто и не вспомнил. Молча жгли голландский табак, а помимо того, как показалось Сашке по запаху, и коноплю. Цедили по глотку литровую бутылку ирландского Jameson. Ждали истомно.

Наконец Лили торжественно произнесла:

— Вызываю дух Иосифа Сталина! Приди! Приди к нам!

От слов этих Колочий заерзал на стуле, потому как не далее, чем на прошлой неделе опубликовал в “Огоньке” статью с очередными разоблачениями кровавого сталинского режима, и ему не слишком хотелось выслушивать, что скажет о ней диктатор.

— Может, Пушкина? — шепнул Лиле, но та даже не обернулась и Пушкина не позвала.

Мирно плавилась свеча. Потрескивала жарко сухая берёза в камине. И вдруг нечто тяжкое и протяжное с гулом пронеслось за стеной.

— Поезд, — объяснила Лили. И в то же мгновение фанерный бегунок под её пальцами вздрогнул и оборотился кругом. — Сталин, — улыбнулась она.

Дух Иосифа Виссарионовича оказался удивительно мил и кроток. Отвечал на вопросы коротко и внятно, без малейших признаков надменности и высокомерия, каковы свойственны, к примеру, душам Петра Первого или Льва Троцкого. На вопрос о судьбах перестройки поведал доверительно, что “Борис станет первым и разрушит страну”, “собирать станет Владимир”, а “возродит Алексей”. Сказал он и про Америку, “которой уж недолго владычествовать”, и про Китай, который “к две тысячи пятидесятому году коммунизм построит”, добавив при этом весьма эмоционально: “А вы могли бы его ещё раньше построить, если бы не были такими дураками”. “Вашими методами? — поинтересовался красный граф. — Лагерьями и пытками? — То и дело озираясь назад, — отвечивал Сталин, — далеко не уйдешь”. Тут и Колочий осмелел. Сглотнул виски из стакана и произнёс с улыбкой: “Тебе не убедить нас. История вынесла свой приговор, кровавый тиран. — Добрых правителей не существует, — отозвался Иосиф Виссарионович весьма миролюбиво, — точно так же, как и народа, который ими доволен”.

Затем перешли к частностям. Женщине-подростку вождь предсказал удачно замужество с грузинским вором в законе по кличке Хистава. “Красного графа” ждала оглушительная карьера в министерстве культуры, где он будет курировать вопросы реставрации памятников, озолотится на этом деле и будет посажен сроком на десять лет в Мордовский лагерь особого режима для проворовавшихся чиновников. Мальвину с синими волосами ожидало вполне прогнозируемое безумие на почве наступившего климакса и увлечённости дадаизмом, в результате которых она примется по заветам непризнанного совка Марселя Дюшана расписывать масляной краской унитазы в общественных туалетах. И загремит в Кащенко. Колочий эмигрирует в начале грядущего века в государство Израиль. Издаст здесь несколько книг, впрочем, мало кому интересных. Выдаст дочку замуж за внука эсэсовца. И окончит

жизнь в комфортабельном доме для престарелых, до последнего часа проклятая Сталина и советскую власть.

Ни Сашка, ни Лунатик, ни сама Лиля своего будущего знать пока не желали, а потому ничего и не спрашивали. Сталин покинул собрание точно так же, как и появился. Грохотом пролетающего мимо дачи товарняка, трепетом свечей. В остаток вечера, что ожидаемо затянулся чуть ли не до рассвета, поменяли виски на портвейн, отчего интонации обрели пушную громкость, взгляды — туманность, мысли — развязность и революционность. Богема принуждала Сашку звонить ночью в штаб округа, поднимать истребители на спасение Горбачёва и бомбардировщики — на уничтожение путчистов. Лунатик в ответ грозился вздёрнуть богему на фонарном столбе, утверждая, что от неё в стране вся зараза. И только Лиля, хоть и пила наравне со всеми, словно и не пьянела, всё глядела на Сашку с какой-то грустью, с печалью какой-то нездешней. Всё молчала.

— Куда ты?! — остановила его, когда, пошатываясь, натягивая на себя мундир, подался к выходу вместе с богемой. — Я тебя никуда не пушу. Здесь останешься.

А поскольку идти ему и в самом деле было некуда, спорить не стал.

...Просыпался мучительно, будто возвращался из ада. Мозги словно кто чутунными тисками давил, дырявил их сверлами. Рот и гортань наполнились зловонной горечью, как если бы всю ночь напролёт кошацье дерьмо пережёвывал. Взгляд расплывчат, мутен. А слабость такая, что не то что руки, пальца не поднять, не вздохнуть полной грудью.

Лиля в прозрачном, чайного цвета пеньюаре, кашеварила возле газовой плиты в три конфорки. Шкварчала на сковородке яичница на сале. Свистел паром чайник. Бурлила на огне эмалированная кастрюлька, источая какой-то сладостно-горький аромат. Судя по скомканной подушке с чёрным волосом одиноким, по отдельному верблюжьему одеялу, Лиля спала рядом. Форма — на плечиках, отутюжена. Протезы — по стойке смирно в углу при ботинках вычищенных. Видать, женская рука не один час трудилась над ними. На вздох его тягостный оборотилась приветливо, с улыбкой душевной.

— Доброе утро, защитник Родины! — засмеялась игриво. — Ну что, идём на посадку?

От варева сладкой горечи, что поднесла ему в кружке прямо в постель, клетки мозга разом пришли в порядок, боль улеглась, взор прояснился, а во рту вместо кошек точно цветущий шиповник благоухал.

Ореховый стол теперь был застелен скатертью, отделанной мехельнским кружевом с узором из веточек мимозы, уставлен мейсенским чайным фарфором, шеффилдским столовым серебром — окислившимся, давно не чищенным, — бокалами венецианского стекла. Батон “городской” порезан ломтиками, слегка, но до хруста обжарен; сыр пошехонский с языковой колбасой, что выдают теперь, поди, только в спецраспределителях, нарезкой щедрой полнят тарелку, а на других — и вовсе разносолы изысканные: розовые лепестки сёмги в поту, ростбиф с нутром нежным, банка камчатских крабов *chatka*, лоснящийся антрацит чёрной икры. Паюсной.

История Лили, рассказанная Сашке за завтраком, оказалась так же изысканна и щедра на события, а вместе с тем непонятна, как этот стол посреди тоскливых подмосковных дач.

Лиля появилась на свет в Бейруте от союза русской студентки Светланы и ливанского инженера Салеха, в чьих артериях текла кровь маронитов, суфиев из Бенгази и даже кавказских вайнахов. Кавказская кровь, судя по всему, оказалась остальных властней. Салех не только пять лет учился в Грозном, но и привёз оттуда домой беременную русскую жену, происходившую из курян, а в тех краях, как известно, полно чародеев и что ни баба, то суцая ведьма. В бейрутском госпитале Святого Георгия Светлана самостоятельно родить не смогла. Пришлось кесарить. Когда ребёнка вытащили из матки, он оказался обвит пуповиной вокруг шеи. И уже не дышал. Белая асфиксия. Времени — считанные минуты. Отсосали катетером амниотическую жидкость изо рта и носа. Адреналина и альбумина в пупочную вену ввели. Искусственную вентиляцию лёгких подключили. Всё без толку. Хотели было констатировать

смерть, но тут девочка вздрогнула едва. И вздохнула. Много позже, когда Светлану парализовал осколок фугаса “Стражей кедров” и жить ей оставалось всего сто тридцать минут, она призналась дочери, что в день её рождения, распластавшись с отверстой маткой под огненным небом Ливана, душу свою обменяла на её жизнь. И отреклась от Бога.

Только тогда и поняла Лиля, что значили бесконечные родительские распри о детской её душе. Золотой крестик с распятым Иисусом. Евангелие в кожаном переплёте на арабском и русском языках. Литургии. Конфирмация. И даже беседа с кюре — всё, что ни предлагал или даже делал тайком отец, вызывало отчаянное, вплоть до истерик, сопротивление матери. Та воспитывала дочь в пренебрежении к христианству, называя его мракобесием, рабским мировоззрением. И при этом насаждала в детской душе русское язычество — всех этих Горынычей, Кощеев, Яг и прочую нечисть, от которых и до бесов рукой подать, и до вождей бесовских. Лиле сказки русские нравились. Гораздо больше непонятных и жестоких старцев, готовых прирезать собственных сыновей, городов, сожжённых напалмом, потопов и крестных страданий. Так и росла, покуда сама не узнала, что страдания крестные продолжают и по сей день. А библейские уроки — не вымысел, не архаика. В Ливане началась гражданская война. После смерти жены Салех добровольцем вступил в Народную гвардию и через шесть месяцев погиб в битве отелей на шестом этаже “Бейрут Хилтон”. Бронебойная пуля калибра 12.7, выпущенная из изношенного пулемёта системы Браунинга, разворотила его утробу в мгновение ока. Он умер без причастия и покаяния. В те дни Лиля проживала неподалёку от сирийской границы с отцовскими родичами, и те ещё несколько лет не говорили ей о гибели папы. Бежали от войны сначала в Хомс, а уж затем и в Алеппо, где Лилю в пятнадцатилетнем возрасте выдали замуж за курдского торговца коврами “хереке”. Тот был хоть и богат, но страшно скуп и скор на расправу. Лупил юную жену почём зря за любую оплошность, будь то разбитая чашка или отказ от совокупления. Несмотря на побои и отсутствие любви, через год с небольшим она родила здоровую девочку. Отец нарёк её на курдский манер Перихан. Ангелочек. Поначалу Лиля ещё надеялась, что с рождением дочери муж изменится. И если не полюбит её, так хотя бы уважение проявит за то, что вынашивала, а теперь кормит, лелеет его Ангелочка. Куда там! Года не прошло — привёл на подмену расплывшей жене новую пассию. Тонкую девочку-подростка из Идлиба. Лиля, может, и её стерпела бы, если б не бил. Теперь и без всякого повода. Взглянула не так. Непочтительно встала. Ребёнок орёт. Сбежала весной, когда всё семейство отправилось погостить к курдской родне в турецкий Диарбакыр. В чём была. Без Ангелочка. Сиганула через окно туалета на заправочной станции. С тремястами долларами, зашитыми в подол. Денег этих ей хватило на то, чтобы не только добраться до границы СССР, но и переплыть её по мутной реке Аракс. Здесь её и взяли. Почти неделю госбезопасность устанавливала её личность и связи, поскольку никаких свидетельств о её принадлежности к Стране Советов просто не существовало. На счастье, в деревне Мазеповка Курской области живы были ещё дед с бабкой. Они-то и подтвердили наличие ближневосточной внучки, подкрепив слова свои фотографиями, копией свидетельства о браке, письмами и иными бумагами, каковые хранились в русской этой семье и в местном управлении КГБ.

Больше года приходила в себя Лиля после скитаний на изживении стариков. Потом поступила на факультет иностранных языков Курского университета. В студенческом общежитии проживала. А поскольку народа с совершенным знанием арабского в областном центре было не слишком много, то и дело отправляли Лилю в качестве переводчика на всякие международные форумы и конгрессы. То в Ленинград, то в Москву. Тут она, в конце концов, и зацепилась, приглянувшись на Международном фестивале молодёжи и студентов сноровистостью своей, нравом покладистым, метким взглядом не только заведующему фотослужбой “Огонька” Гене Копосову, но и главному редактору Коротичу. Тем более что и жильё у неё тут имелось. Брат двоюродный дальневосточный после возвращения с войны и в ожидании запуска на Луну снимал под Москвой старую дачу.

Но как бы уютно ни складывалась жизнь её в Советском Союзе, какие бы встречи и расставания ни дарила, как ни манила миром, благостью и покоем, все эти годы думала несчастная Лиля только об одном — о брошенном своём Ангелочке, милой Перихан. Спрашивала о ней у духов. Отправляла запросы через МИД в советское консульство. Пользуясь расположением начальства, звонила в Алеппо, Идлиб, в турецкий Диярбакыр. И не получала никакого ответа. Ангелочек исчез. Словно его и не было.

...История всей её жизни уместилась всего-то в тридцать минут утреннего завтрака, но никак не хотела складываться в Сашкином сознании, равно как и сам этот завтрак, и эта ночь, и пророчества духов минувшей ночью. Больше всего потрясло само существование тонкого мира, в котором есть место не только прошлому, но и будущему, и людей, которые способны миры эти соединять. Таких, как Лилия. Не то чтобы она понравилась ему. Скорее оглушила. Заживо поглотила. Жизнью своей. Решимостью. Взглядом пронзительным, вынимающим душу. Собственная безропотность удивляла. Прежде с женщинами, что встречались на его, тоже недолгом, жизненном пути, вёл он себя и заносчиво, и игриво, порой даже грубо, ожидая в ответ если и не близости, то хотя бы такого же бессмысленного и бесцельного флирта. С Лилей и подумать об этом было грешно. И даже скромное её одеяло ни о чём не свидетельствовало. Весь её облик, пусть даже и легкомысленный, каждый взгляд, каждый жест и каждое слово свидетельствовали о целомудрии высшей пробы. Таком, что Сашка притронуться к ней не смел. Да что там! Лишний раз взглянуть страшился. Сердце грохотало пневматическим молотом в ушах. До глухоты. До липкой испарины.

Сразу же после десерта — свежайших шоколадных и фисташковых эклеров — велела ему собираться и уходить с неперменным условием вернуться к ужину, после которого пообещала новый спиритический сеанс.

Всю-то неделю, пока в стране рушилась прежняя и воцарялась новая власть, пока советские подростки мастерили “коктейли Молотова” и жгли ими других подростков в арбатском туннеле, пока возводили баррикады, рушили монументы, грабили, мародёрствовали не только по ларькам, но и по отраслям промышленности, вознося и тут же ниспровергая вождей, пока звучали посреди городских костров революционные гимны, пока всякий считал себя хоть немного повстанцем, а в притихшем мире кто с удивлением, кто с разочарованием, а кто и со страхом наблюдали за сменой социалистической эпохи, на старой подмосковной даче всё уже было сказано и всё предрешиено. Вызванные из преисподней духи Гитлера, Александра Македонского, Петра Первого, Владимира Ленина и Фридриха Ницше повели собравшимся про ближайший ход российской истории и грядущих её вождей с точностью чрезвычайной, как говорят математики, до запятой. Назывались фамилии. Адреса. Домашние телефоны. Имена жён и любовниц. Годы жизни. Тайные пристрастия и тщательно скрываемые пороки. Сообщения с того света Лунатик тщательно конспектировал в общую тетрадь с профилем Циолковского на обложке, а после упрятывал в неподъёмный засыпной сейф. При помощи тетради этой Лунатик в самое ближайшее время не только планировал манипулировать российской властью, но управлять мировым правительством, о котором единодушно свидетельствовали духи.

## 21. Антиохия. В год консульства императора Диоклетиана IV и императора Максимиана III (290 год)

Солнышко ясное восходило над столицей провинции нежной зарёй, свежестью нового дня. Птахи божии — пёстрые скворцы, жаворонки сладкоголосые да щеглы — выводили свои рулады, схоронясь в тени эвкалиптов с обнажёнными стволами и разлапистых кипарисов. Свежий ветерок с Оронта, напоенный запахом зацветшей рыской воды, речной прохлады, тучных рыб, торопливо спешил по комнатам, играючи занавесями из шёлка, изумрудными веточками герани и цветами лиловых фиалок в горшках. Утренняя роса покрывала испариной мраморную кожу обезглавленного Аполлона в саду,

мясистые листья фикусов, тяжёлые бутоны сирийских чайных роз, что распускались навстречу заре и манили к себе устали не знающих пчёл.

Иустина, как и все последние годы, с ночи уже на молитве. Да не одна, а со служанкой своей африканской Ашпет, с матерью своей Клеодонией, которая после того, как дочь её чуть было не преставилась, ожила понемногу, покаялась в многочисленных грехах перед епископом, причастилась Святых Тайн и стала истовой молитвенницей, порой и раньше дочери в домашний их храм являлась.

Ветерок рассветный шевелит осторожно язычки лампад, семи свечей в древней меноре, привезённой Иустине в подарок с родины Христа — из Назарета. Венчала менора мраморный постамент с критской мозаикой, изображающей хризму ХРИСТОС, монограмму имени Спасителя, а по краям её две буквы — альфу и омегу, восходящих к словам Апокалипсиса: “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был, и грядёт, Вседержитель”. На стене тайно написанная и прикрываемая от чужих глаз тяжёлым полотнищем фреска с изображением Доброго Пастыря с двумя агнцами обок Христа и одним на его плечах, с двумя тисами и восседающими на ветвях его двумя певчими птицами.

Глядя на изображение Господа, пребывая в состоянии молитвы сердечной, испытывала она чувство несказанной радости, что наполняло её не только от сказочного и искреннего этого Богообщения, но и от того ещё, что искунитель её прежний, великий чародей Киприан, сподобился, наконец, прийти к Господу. Год назад крестился, всего-то через восемь дней был поставлен епископом во чтецы, через двадцать — в иподьяконы, через тридцать — в дьяконы, а через год — кто бы мог в это поверить — рукоположён в иереи. Сам Киприан вполне изменил свою жизнь. С каждым днём увеличивал он свои духовные подвиги, и, ежедневно оплакивая прежние злые деяния, совершенствовался, и восходил от добродетели к добродетели. Уж больше года не говорила с ним Иустина. А повстречав на службе, смиренно отводила взгляд. Бывало, сердце её воспламенялось на какую-то долю секунды. Но усердная молитва сразу же тушила этот опасный огонь. Киприан тоже глаза отводил. Чувствовала Иустина внутренним помышлением своим, что и он сердцем пламенеет, что и ему нелегко глядеть в её сторону и даже видеть её на службе. Потому всё чаще молилась в собственном доме, собирая на службу не только родню, но и соседей-христиан, кому тяжело по немощи их добираться до храма за городскими воротами. Искушение воспоминаниями — оно ведь тоже искушение.

Что до несчастного Аглаида, чья неуёмная страсть даже при поддержке дьявольских сил не совладала с девичьей непорочностью, тот полгода предавался пьянству и распутству бесстыжему, закончившемуся свальным грехом под покровом ночи пятидесяти юношей и дев на городском ипподроме. За нарушение общественной нравственности иные были биты плетьюми, иные сосланы на мраморные копи, а сам Аглаид как зачинщик этого непотребства отправлен на войну с варварами. Через месяц угодил в плен и вскоре нашёл во вражеском стане добрую жену. Нарожал от неё пятерых детей. Отпустил бороду до пупа, волосы до плеч. Воспринял язык их варварский и веру. Рубился с соплеменниками своими почём зря и дослужился таким вот кровавым образом до тысячника, одного из любимцев остготского королевича. Во время одного из сражений Аглаид был пронзён двухметровым пиллумом, повержен и растоптан двумя сотнями лошадей, промчавшихся по его телу вдогонку отступающим варварам. Пройдут годы, и один из сыновей мятежного Аглаида, именем Вульфилла, не иначе как по провидению Божьему не только начертает первые литеры готского алфавита, но и переведёт на готский язык Священное Писание. И даже станет первым готским епископом.

...Только служба закончилась, только устроилась Иустина с матерью за столом под сенью цветущего миндального дерева для лёгкой трапезы, в саду стоял одинглазый дьякон. Одетый в лёгкую холщовую ризу, в сандалиях разношенных, с головой непокрытой, седой, которую перехватывала чёрная лента, прикрывающая обезображенную глазницу, торопливо подошёл к столу, склонился почтительно.



— Радость! Какая радость, госпожа Иустина! — лепетал Феликс, мелко крестясь и поглядывая светящимся взором на девушку. — Сбылось пророчество, и Савл обратился в Павла.

— Не пойму тебя, Феликс, — отвечала ему Иустина, — что хочешь сказать? О чём весть твоя?

— За литургией утренней иерей наш Киприан рукоположён в епископский сан! — выпалил дьякон, сияя не только единственным глазом, но и всем сухоньким своим личиком. — Да тут же послал за вами, достопочтенная госпожа.

Удивлённо взглянула девушка на дьякона. Перекрестилась. В ожидании поддержки взглянула на мать. Но та словно ничего не слышала. Запивала тёплым молоком сладкую ячменную лепёшку.

— Хорошо, — молвила Иустина, — передай, к полудню явлюсь.

Путь её к храму лежал сначала к стене Селевка, а оттуда по главной улице, огороженной портиками, многолюдной, как и обычно, кишачей зеленщиками, торговцами медной посудой из Дамаска, пестрящей персидскими коврами, уставленной греческими амфорами различных размеров и предназначений, кроликами и голубями в деревянных клетках, чёрными угрями, красноперыми окуньями, зелёными щуками из Оронта. Гомон торгующегося люда. Тёплый запах свежеиспечённых лепёшек. Жареного миндаля. Печёных бобов. Солдатского пота. Умощенной женской плоти. Конской мочи, что стекала ручьями из конюшен городского ипподрома. Яркое, до рези в глазах, солнце порошило главную улицу города золотой пылью, трогало лучами своими тёплыми, сердечными всякую, пусть даже самую малую и немощную тварь, будь то блоха, запутавшаяся в шерсти шелудивого пса, или прокажённый в перепачканной гноем рубахе, прикорнувший в изнеможении у подножья прохладной колонны. Оттуда, буквально продираясь сквозь плотную толпу горожан и пришлых, шла до Нимфея с вычурными мозаиками, изображающими Океан, мимо общественных терм Ливиании, названных так в честь доброй горожанки, что продала свои земли и сады под городские нужды императору Северу, ныне совсем заброшенных, заросших бурьяном и диким плющом, с высохшими, порушившимися бассейнами, скамейками пожелтевшего мрамора, обвалившейся крышей. Мимо театра Цезаря — величественного, достойного своего имени и звания третьего театра империи, в котором размещалось до двадцати тысяч свободных горожан, а рабы и отпущенные изображали им на потеху или даже в укор классические пьесы Еврипида, комедии Аристофана. В дни Олимпийских ристалищ театр принимал вдохновенных декламаторов и стихотворцев, которые также награждались лавровыми венками и собирали не меньше публики, чем борцы или атлеты. В будни здесь было непривычно тихо. И только несколько рабов, что, возможно, этим же вечером станут представлять тут трагедию “Эдип в Колоне”, монотонно метут венками пустую сцену. А оттуда и до Железных врат, открывающих проход в стене Тиберия, рукой подать.

Покуда брела Иустина уже и не по тропке, как прежде, а по дорожке широкой, протоптанной к храму последователями новой веры, представляла, фантазировала восхищённо, что станет с этой дорогой, с храмом этим и самой верой христианской через сто или даже через тысячу, две тысячи лет. Станет ли шире путь? Не зарастёт ли бурьяном, как зарастает ныне сорной травой величественная прежде Дафнийская роща? Сохранят ли в чистоте и первозданности веру христианскую будущие, ещё не рождённые её иерархи, которые будут верить, конечно же, совсем иначе, поскольку из веры их постепенно сотрётся, а следом и вовсе исчезнет устное свидетельство тех, кто принес и посеял её на скудных этих землях. А если и сохранят, если вера эта, по свидетельству апостолов, распространится по всей земле, овладеет людьми и по эту, и по ту сторону империи, станет единственной и неоспоримой, не постигнет ли иерархов её гордыня, тщеславие и иные греховные поущения, коими сокрушались множества царств и даже самых великих империй, таких как Римская, которая уже трещит по швам? Вспомнит ли кто тогда их, самых первых подвижников веры, что под страхом лишений

и даже самой смерти сеял слова Спасителя в обескровленных язычеством душах. Кто шёл под плети, на вырывание ноздрей и глаз, кто за счастье почитал подобно Ему быть распятым. Но если и не вспомнят, невелика беда! Не памяти ради надменных потомков идёт она нынче в храм, но ради Того, с Кем связала свою жизнь — и эту, и будущую, ради Кого сберегла и до смертного часа станет беречь главное своё сокровище — девство. Знали бы они, те, кто придёт им на смену, какое это было счастливое и оттого чистое время — служить и быть рядом с Христом в самые первые времена!

...Прежде на этот куст возле храма она никакого внимания не обращала. Словно воском натёртые листья суданского гибискуса давно покрылись дорожной пылью. По болезни ли, за отсутствием ли любви и ухода куст совсем не цвёл. Да и само его существование на бесплодной, каменистой почве предгорий было неуместным и лишним. Но тут вдруг воспарил. Оживился не иначе как Святым Духом от соседства мистического. Страхнул, словно дошедший до дома путник, дорожную пыль с листьев. Налился бутонами крепкими, тугими, а в иных местах уже и выстрелил или только разворачивал миру глубокий чарующий цвет. Пять нежных лепестков цвета кармина с яичным основанием окружали горделиво торчащий стилус, увенчанный, будто царской короной, стигмой такого же, как и лепестки, цвета. Горные пчёлы с испачканными жёлтой пылью брюшками и лапками ползали суетливо по стилусам, по стигмам гибискусов, оплодотворяя их невесомой пылью, пробуждая в незримом, неосязаемом чреве растений новую жизнь и надежду. Muskusный запах цветущего кустарника разливался повсюду. Кружил голову. Дурманил, будто сладкое вино. Египтяне варят из этих цветов чудотворный напиток. Сирийцы — настойки, открывающие врата любви. Теперь, видать, коварный гибискус хотел одурманить и Иустину, но та, хоть и чувствовала пряный аромат, хоть и встрепенулось сердце её, да только вспомнила, какие испытания уже выпало перенести душе её девичьей! Удивилась она упёртости придорожного этого кустика, силе его внутренней, подобной вере христианской, что дремала до поры под спудом забвения, пыли дорожной, жажды и глады, но вот воскрес куст, расцвёл, обрёл красоту и смысл. “Всякое дыхание да хвалит Господа!” — вспомнила Иустина слова псалма. Перекрестилась и, склоняясь, вошла под своды храма.

Был Киприан облачён в одежды простые, с платком полинялым, в белых разводах от высохшего пота по краям. Сандалии стоптанные с порванным ремешком на правой ноге — без всяких пряжек и украшений. Власы его, хоть и мытые, но, видать, давно не стриженные и не подравниваемые, свисали длинными прямыми прядками. Борода и усы, не меньше двух месяцев не знавшие лезвия брадоброя, топорщились клоками, местами покрытыми первой сединой. Губы шептали неслышно, сухо. Указательный палец правой руки скользил по строкам манускрипта. Листал за страницей страницу в яичном свете масляной лампы, что стояла рядом. Услышав входящего, обернулся. И просиял.

— Иустина, душа моя! — воскликнул Киприан, поднимаясь с лавки и направляясь к девушке. Приблизившись, обнял её. Поцеловал троекратно в ланиты, отчего Иустина зарделась, как тот гибискус при входе. По счастью, в храме было сумрачно. И Киприан смущения её не заметил. — Проходи, любезная сестра моя, — приобнял её Киприан и подвёл к столу, на котором стоял сестильник и лежали манускрипты. Усадил напротив. Улыбнулся широко, открыто, так, что на сердце у Иустины словно пахи райские возликовали. — Вот ведь промысел Божий! Ибо только что о тебе думал. — Киприан указал дланью на манускрипт. Тот был, сразу видно, из новых, недавно написанных. Краска совсем свежая, яркая. Пергамская кожа тонка, прозрачна на просвет. Епископ взял его в руки, прочёл: — “В диаконису также избирай жену верующую и святую, чтобы служила женщинам; ибо случается иногда, что в некоторые дома нельзя послать к женщинам мужчину диакона из-за неверных: посему, для успокоения помысла нечестивых, пошли туда женщину диаконису”.

— К чему ты это, святой отец? Неужто хочешь предложить недостойной церковный сан?

— За тем и послал за тобой, Иустина... Наперёд знаю, что возразишь. Да только иной, кроме тебя, и не вижу. Ибо сказано и далее: “Диакони-сою же должна быть дева непорочная; а если не так, то по крайней мере вдова однобрачная, верующая и почтенная”. Почтенных да однобрачных в общине нашей немало. А вот дев непорочных, верою стойких, кроме тебя, мне не сыскать. Кому, как не мне, скажи на милость, знать это? Испытания, что претерпела ты, страдания, что сквозь сердце твоё прошли, утраты, что душу твою сушили, — достаточно было лишь крохотного сомнения, чтоб распалась вера твоя. Знанием ли, попусшением ли Божиим, силой Святого Духа сберегла ты веру и, более того, всю жизнь и всё служение посвятила единственному жениху своему Иисусу Христу. А потому и целомудрие твоё есть печать совершенства, подобие Ангелам, духовная и святая жертва, венец, сплетённый из цветов добродетели, благоухающая роза, оживляющая всех, находящихся вблизи неё, приятнейшее благоухание Господу Иисусу Христу, великий дар Божий, залог будущего наследия в Царстве Небесном. Кому, как не тебе, нести этот крест и далее. А сан диаконисы тому не помеха. Но лишь подмога на тяжком пути.

Иустина слушала епископа смиренно. Ни словом, ни знаком или выражением глаз не выдавая своего внутреннего смятения. Конечно, она как сейчас помнила домогательства юноши Аглаида. Силы зловещие, тёмные, что подобно хищникам рыскали по дому её, по саду в поисках слабеющих человеческих душ. Помнила и самого Киприана, что под разными личинами вторгался, да так и не вторгся в дом её, по всей видимости убоявшись ангелов и архангелов Господних, стоявших на страже дома и самой Иустины. Ночи в молитвах. Колени, содранные в кровь, опухшие. Близость сомнений. Сражения внутренние, жестокие, в которых ничем, кроме новых молитв, врага рода человеческого не одолеть. А если одолеешь, в гордыню нужно не впасть. Победой не утешиться. Даже сейчас, когда сам епископ предлагает ей принять сан, как не впасть в прелесть? Не соблазниться нравственной и духовной высотой своею? И как ей жить с этим далее, понимая, что отныне не только за себя в ответе, но и за всех тех, самых разных жён, что придётся ей окормлять. За кого не только молиться, но и собственной жизнью нести ответ пред Спасителем. Хотела отказаться. Но в самой возможности отказа вдруг почувствовала гордыню. Хотела согласиться. Да в скором согласии тоже чувствовался привкус нехороший. Вроде как славолбие. Развращение воли.

— *Во всех делах твоих помни о конце твоём*, — отвечала, наконец, Иустина словами Иисуса, сына Сирахова, — *и вовек не согрешитишь*<sup>26</sup>. Дай мне время, отче, покуда Сам Господь не подаст мне знак. Как повелит мне Он, так я и поступлю.

В радости и ликовании сердечном пошёл проводить епископ новоявленный Иустину до самого выхода. Солнце к тому часу уже вошло в зенит. Сухо шуршала под ногой трава, измождённые стебли осоки. Жаром давило из соцветий горькие ароматы полыни. Сладость диких жасминов и клевера. Густую камфару пижмы. К ароматам этим в первую ноту и гибискус возрождённый врывался. Взглянув на него, Иустина и Киприан невольно замерли и дружно перекрестились. Прежний карминовый окрас соцветий словно растворился в жарком полуденном мареве. И теперь цветы были снежными, чистыми, белыми.

*“Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю”*<sup>27</sup>.

— Вот и знак, — смиренно проговорила Иустина.

Всю следующую неделю перед хиротонией провела Иустина в строгом посту. Вода колодезная и несколько высушенных на солнце смокв — вот и всё её пропитание. Власяницы не снимала даже в покое. Да и покоилась-то по три часа за ночь. Остальные часы молилась, пребывала в раздумьях о прожитом, увиденном и осознанном. Вновь и вновь обращалась к Господу за подмогою, за знаками, указующими предвечный её будущий путь. И Господь отвечал ей. Откликался на всякий её вопрос. То засохшая веточка лавра в амфоре на столе изумрудными побегами пробьётся. То птица певчая

сядет ей на плечо да примется журчать в самое ухо тихие перепевы. Или в ответ на просьбу о смирении духа заволочёт и сад, и весь город низким туманом, в котором только и делать, что смиряться да уповать. Все эти дни, помимо молитв и бодрствования, обременяла себя всевозможными послушаниями, отстранив от них прислугу. Несколько часов драила с щелоком и мылом отхожее место. Перестирала в реке пять полных корзин грязного белья. Сама прочистила, перепачкавшись сажей от волос до самых ступней, большой и малые дымоходы. Кроме того, несколько дней подряд ходила на городское кладбище приводить в порядок и родственные, и чужие, ей вовсе не знакомые могилки. Хотела было водрузить на себя вериги из ржавых корабельных цепей, что подобрала возле одной из таких могил, но не стала, справедливо решив, что не может сделать это без епископского благословения: мысль такая свидетельствовала об искушении святостью.

В день хиротонии глаз не сомкнула. И с трепетом душевным наблюдала за просыпающимся от сна мирозданием, хотя и привычным, но сегодня особенно чистым и царственным. Занимающийся рассвет красил небо давленной земляникой. Красил ракушечник хижин и мрамор дворцов, величественные статуи императоров и обезображенные лица спящих под рыночными навесами прокажённых. Стайка белых голубей, что кружила широкими кругами сперва над ипподромом, затем над дворцом, вдруг потянулась к дому Иустины и снежным облаком опустились во дворе, разместившись кто на ветвях деревьев, кто на крыше нового хлева, кто на траве или чаше бассейна. Двенадцать птиц насчитала Иустина. По числу апостолов. И в самом саду — благодать! Всякое дерево, куст всякий и даже крохотная былинка расцвели пышным цветом, убрались, словно невесты кружевами кипенными. Даже сухая ветла, что торчала последние десять лет безжизненным дрынком из мусорной кучи, и та выстрелила вдруг узким оливковым листочком и припудренными золотистой сладкой пылью серьгами. Воздух — будто патока светлая, жидкая. Растекается окрест, собирая в себя и другие запахи: померанцевого цвета, жимолости садовой, горькой цедры, вяленых абрикосов в корзине. Питается ими хищно. Становится гуще. Дурманней. И вот уже властвует повсюду, наполняя царствие земное Божественной благодатью. Пока надевала льняную широкую тунику с вышитым голубой шерстяной ниткой крестом на груди и накидку, такую же просторную и воздушную, пока волосы убирала под платок, голуби взирали на Иустину чёрными бусинками глаз, ворковали довольно, а когда, перекрестясь несколько раз с глубоким поклоном, вышла она из дома, вспорхнули и последовали вслед за ней к храму, нарезая широкими кругами лазоревую чистоту и безбрежность антиохийского неба.

А в храме и не протолкнуться. Епископ, пресвитеры, несколько дьяконов, служек, не говоря уже о прихожанах и прихожанках, наполняли, шаркали, гудели под сводами, ожидая нынешней литургии и хиротонии первой антиохийской диаконысы. Но лишь заметили её, поднимающуюся в гору в окружении белых птиц, парящих над головой, вмиг примолкли. Кто-то руки сложил на груди благоговейно. Кто-то заплакал. Иные пали ниц.

Более ничего не помнила Иустина. Только лучистый, тёплый взгляд Киприана. Нежность дланей его, возложенных на её голову, да слова, произнесённые в звенящей тишине, но запомнившиеся ей на всю оставшуюся короткую жизнь:

— Бог Вечный, — молвил Киприан, — Отец Господа нашего Иисуса Христа, мужа и жены Создатель, исполнивший Духом Мариам, и Девору, и Анну, и Олдану, не отказавший Единородному Сыну Твоему родиться от жены и в скинии свидетельства и в храме избравший жен стражами святых ворот Твоих! Сам и ныне призри на рабу Твою сию Иустину, избранную для служения, и дай ей Духа Святого, и очисти её от всякой скверны плоти и духа для того, чтобы достойно совершать врученное ей дело во славу Твою и похвалу Христа Твоего, с Которым Тебе слава и поклонение, и Святому Духу во веки. Аминь.

Дух Святой снизошёл в Иустину сей же миг. Слёзы потекли из глаз её. Сердце очистилось. Лицо просияло. И благодать блаженную обрела душа.

## Кондак 11

Пение непрестанное Пресвятей Троице паче иных принесл еси, священномучениче Киприане, за Господню милость к падшим грешником, Иже благоволи недостойного достойным сотворити и сопричать святому Его стаду. Мы же, благодаряще Бога за таковую милость к нам грешным, зовем Ему: Аллилуиа.

## Икос 11

Светозарная свеща был еси, богомудре, в Церкви Христовой, просвещая невестственным светом души верных. Просвети и наша грехом отягченная сердца, поющих ти таковая: Радуйся, яко Господь милость Свою к падшим грешником на тебе показал еси; Радуйся, из рова погибели, яко овча заблудшее, изъял еси. Радуйся, из недостойного достойным сотворенный; Радуйся, святому стаду Христову сопричтенный. Радуйся, яко светом невестственным души просвещаеши; Радуйся, заблудших на путь правый наставляеши. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## 22. Москва. Декабрь 1994 года

Ангелочек привиделся Сашке в июле. Юная девушка в тунике цвета мокко, босая, с распущенными каштановыми волосами до плеч, стояла посреди античных руин, ещё хранивших остатки древнего могущества, застывшего дыхания давно ушедших цивилизаций. На плече — семь родинок созвездием Медведицы. Девушка казалась потерянной и даже испуганной. Озиралась то и дело, находя черешневым взглядом только камень, только выжженный панцирь пустыни, сухой чертополох. Выщербленные коринфские колонны с остатками акантовой листвы, затёртые сандалиями ступени амфитеатра, осколки императорских имён, высеченные на арке триумфа, — везде царило запустение и тлен. Ни ветер, ни солнечный луч, ни случайная тучка на небе не нарушали безмолвия пустоты. Возле гробницы, давно разграбленной и разбитой, вдруг промелькнула тень. Скрылась за ближней колонной. И вновь поднялась за спиной Ангелочка безмолвно и грозно. Теперь уже видны обтянутые тёмной кожей мышцы, бурая нечёсаная шерсть, свисающая лохмотьями долу; белки с лопнувшими капиллярами, источающими не только кровь, но и вожделение, и порок; на пальцах — когти медвежьей, сахарная белизна клыков, выступающих из черноты рта. То ли чудище, то ли бес. А может, и человек одичавший. Крадётся к Ангелочку всё ближе. Когтистые руки с прозрачными перепонками крыльев по сторонам разводит. Сейчас схватит. И унесёт прочь.

Про сон этот рассказал тем же утром Лиле. Про родинки на плече. Каштановые волосы. Черешневый взгляд. Про чудище омерзительное, вставшее за спиной. Лиля Ангелочка своего сразу признала. Безоговорочно поверила в сон. Наказала Сашке, чуть что привидится вновь, не скрывать ни малейшей детали. Всю ночь толковала с духами о местонахождении дочери, те сперва называли Джербу, потом Марракеш, а под утро и вовсе Чебоксары. Дурили, должно быть. На другую ночь Сашке снова приснилась та же пустыня. И Ангелочек всё тот же. Только чудищ вокруг неё было уж трое. Обступили девушку, растопырили крылья, образуя перепончатый круг. Кружат диким хороводом. Воют в горло. Ангелочек тоже от страха кричит. Дрожь её бьёт. Слёзы брызжут. Целый день после рассказа об этом сне ходила Лиля по дому из угла в угол тигрицей в клетке. Глотала кофейную жижу. Старые книги листала. Возжигала свечи и палочки индийских благовоний. Выходила куда-то прочь. И возвращалась на дачу в полной растерянности.

Сашка теперь всякую ночь ожидает со страхом. А не рехнулся ли, часом, от всего этого духообщения, не тронулся ли умом в спиритическом угаре и женских чарах, если каждую ночь снится ему одно и то же? Пил та-зепам. Реланиум и коньяк. Без толку. Только бесы во сне ещё ярче, ещё омерзительнее.

После муторной службы чиновничьей, которая за заслуги перед новой властью дарована ему была в правительственном квартале, хорошо оплачивалась и сопровождалась всевозможными побрякками, поликлиниками да холуями, решился пройтись малость пешком, к метро “Смоленская”.

По пути — в тополях по самую колокольню — топленое масло штукатурки, золото креста, оградка церковная, свежей зеленью выкрашена. Поднялся, поскрипывая протезами, по высоким ступеням. Дверь на пружине ржавой, скрипучей, отворил. Пусто в храме. Штукатуркой свежей пахнет. Краской масляной. Ремонт. Но кое-где уже и фрески отмыли. И иконы повесили. Водрузили крест с распятием в человеческий рост. Не похож на бедный сельский храм, в котором был в последний раз в отроческие годы, уставлен строительными лесами, да поди ж ты, той же благостью неизъяснимой исполнен. Тут и поп из алтаря вышел. В спецовке захватанной поверх подрясника, в сапожищах резиновых, американском кепи для игры в бейсбол. Зыркнул колочке. Стоит выжидающе. Что ж, пришлось подойти. Отца Антония всего-то меньше года назад назначили сюда настоятелем. Поручили восстанавливать несчастный этот храм, известный в столице под именем Расстрельный. Для этих самых пагубных целей использовали его поначалу чекисты, а потом и нынешние революционеры, обустроив на колокольне в девяносто третьем снайперскую точку. В иные-то времена здесь ещё и молились. Поначалу Сашка и не думал ничего рассказывать незнакомому дядьке в американской кепке. А тот и не расспрашивал. Рывкнул только:

— Литургия в воскресенье. Раньше не будет.

— Да мне узнать просто! — произнёс в ответ Сашка, сам от себя такой напористости не ожидая. — Как быть, когда черти снятся?!

Примостившись на столярном верстаке, до самого вечера рассказывал Сашка отцу Антонию про грешное своё житиё, души загубленные, надежды обманутые, страсти необузданные, видения необъяснимые. Слушал тот молча, склонив голову в американской кепке. Изредка поднимал на Сашку глаза, полные слёз, вновь опускал их долу. Велел приходить на исповедь, а потом и на причастие. Книжки читать. Молитве учиться.

— А разве это не исповедь? — изумился Сашка.

— Нет, — ответил Антоний, — это кошмар какой-то.

Вот с того самого июльского погожего вечерка и началась у него жизнь другая. Новая.

И началась с того, что буквально на второй день после его письма в президентскую администрацию о грядущей кавказской войне и готовящемся взрыве в гостинице “Метрополь” замели в дурку Лунатика. Мрачные люди в санитарных халатах вскрыли засыпной сейф и, помимо незарегистрированного пистолета системы Стечкина, цитатника Мао Цзэдуна и лунных камней, изъяли оттуда несколько общих тетрадей с конспектами предсказаний. Лиля месяца три добивалась свидания с кузеном в институте Сербского, писала и даже звонила знакомым, высоким чинам в контрразведке, однако пистолет, цитатник и камни, по всей видимости, представляли для безопасности страны такую чудовищную опасность, от которой даже на звёздных генералов оторопь нападала. Блеяли несурязицу. Трубки не брали. И только один из них, отсидевший пятеру ещё при товарище Сталине, повидавший в жизни своей генеральской множество всяких чудес, прошуршал ей в трубку три коротких, как пули, фразы: “Не звони. Не ищи. Нет его”. А тут и старики её в Мазеповке занедажили. Дед с инсультом слёг. И бабуля в немощи едва ноги передвигает. Уволилась Лиля из “Огонька”, в районную рыльскую многотиражку перевелась... Сашка узнал об этом из письма, в котором она просила его не таить обид, с дачи не съезжать по возможности, поскольку Лунатик иных адресов в Москве не имеет, а также сохранить до будущей осени её вещи, за которыми она непременно вернётся, и молиться, конечно, за Ангелочка. Подчеркнув при этом слово “молиться” красным фломастером.

Да ведь это только сказать легко — молись! Как молиться — этого советский офицер, воин-интернационалист, Герой СССР, выпускник академии знать не знал, ведать не ведал. Зашёл за советом к отцу Антонию. Тот молитвослов подарил старенький, затёртый, напечатанный в Екатеринбургской

епархиальной типографии аж в девятьсот десятом году. Форзац незнакомыми именами испещрён, столбцами цифр, которые, как сообразил вскорости, означали годы жизни этих людей. Наказал поп сначала утренние и вечерние правила читать. Да без запинки. С ударением. Да с поклонами. Вдумчиво. Без спешки. Молитва христианская только на вид проста, а как примешься читать, особенно по первости, язык сам собой заплетается. Буквы вроде и русские, да слова нездешние, из прошлых веков, из миров, советскому человеку неведомых. Но что ж поделаешь, принялся читать. Поднимется пораньше. Встанет в одном исподнем в угол, где вместо образов — тенёта, расписание движения электричек и фотография Нила Армстронга из журнала Life. Молитвослов в руки. Читает. Громко. Как в армии заведено. Поначалу каждое слово во рту раскатывал, привыкал. Вскоре пообвык и читал складно уже больше по памяти. А коли споткнётся, по завету священника принимался читать молитву сызнова. Да вот беда: только что слова молитвенные начали выходить у него без запинки, как мысли принялись отлетать в разные стороны, словно мошки. Далеко и от дома этого, и от самих молитв. Как будто душа отлетает. Вновь отправился к отцу Антонию с жалобой на такое странное поведение духа.

— Рассеянность это, — выслушав его, заключил поп, который теперь встречал его, как и положено по чину, в рясе, с серебряным крестом на груди. — Чтобы услышать голос Спасителя, надо иметь особый внутренний слух очень тонкой настройки, надо, чтоб сердце твоё, но прежде всего, душа были готовы Его услышать. Между тем жизнь наша суетная только на то и нацелена, чтобы оглохнуть и не то, чтобы особого этого слуха, но и просто внимания к Господу не проявлять. Всё вокруг отвлекает нас от Него. И даже добрый лучик солнца на Его лице, по словам опытных старцев, и тот отвлекает! И как тут поступить? Дело это многосложное. Многотрудное. Не каждому по силам. Ведь, чтобы услышать голос Христа, надо всякий, даже самый слабый помысел, сверять со Священным Писанием. Обнажи своё сердце. Открой его Христу без малейшей утайки. И вот тогда ты обязательно услышишь голос Бога. И поразишься Его красоте, Его силе.

Всю осень золотую и слякотную, позднюю, когда сыпет и тут же тает первый невинный снежок, деревья голы, лист под ногами влажен, тленен, Сашка, заполучив от государства очередной отпуск, сидел в своей Балашихе сиднем, запойно читал. Далёкий в прежние годы жизни от духовных исканий, он и представить себе не мог, насколько озадачено ими человечество. Какие умы и тысячу, и две тысячи лет назад терзались над смыслами людского бытия, возникновения мира, сущности и ипостасей Бога, маририй, метафизики нравственности, любовной алхимии и тонких человеческих переживаний, без которых любая душа не то чтобы потёмки — мрак! Сколько книг написано! И прежде всего, Книга Книг, без которой и последующие вряд ли бы существовали, Книга, чей текст — не просто слова, но Божественное откровение, голос Того, Кто создал сей мир, без Чьего соизволения не было бы ни Сашки, ни войны, ни самой страны, ни старой подмосковной дачи, ни даже втопанного в грязь кленового листа.

Библию он читал, долго и тяжело вникая в громадьё иудейских имён, местностей израилевых, вавилонских, египетских, подчёркивая простым карандашом удивлявшие его фразы и стихи. Продирался до самого Нового года через тридцать девять книг Завета Ветхого, а после Рождества и к двадцати семи Новозаветным книгам присгупил. А поскольку библейские чтения занимали только первую половину дня, то вторая посвящалась агиографии, апокрифам, великим Четьям-Минеям и даже Киево-Печерскому патерику в переводе Викторовой. Вскоре и само жилище его загородное преобразилось. Эзотерики былой останки в виде карт таро, спиритических досок, книг колдовских перебрались в коробку из-под телевизора “Рубин”, а потом и все сожжены были в очистительном костре на окраине сада вместе с палой листвой и сухими ветвями яблонь. Им на смену — скупаемая частично в антикварных лавках, а частично совсем новая, частными издательствами и монастырями выпускаемая богословская литература. Иконы, по большей части всё из тех же лавок антикварных, прикопченные маслом лампад да свечей,

возжигаемых перед ними не одним поколением безвестных молитвенников, занимали теперь не только красный угол, из которого улетел в мусорное ведро американский астронавт, но и стену над его кроватью, и стену напротив кровати, так что просыпался он и ночь почивал под строгим доглядом святых угодников. Свечи в прибалтийских подсвечниках всё же оставил и повсюду лампад в цветном стекле повешал, отчего жилище его одинокое промозглыми студёными вечерами наполнилось тёплым свечением.

“Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе”, — учил Бог Иеремию. Простое это утверждение, которому и по сей день, тысячи лет спустя, мало кто верит, открывало перед всяким человеком не только удивительный, новый мир, но и новое чувство, как если бы он внезапно прозрел, обрёл слух, дар речи обрёл. А ведь помимо тех, кто не верит, много и тех, кто воззвать не в силах, услышать не способен. Не одни сутки простоишь на молитве колена преклонённой, горло сдерёшь, глаза выплачешь — без всякого ответа. Однако отсутствие ответа в молитвенном труде — тоже ответ. И вовсе не означает, что Бог тебя не слышит. Слышит всегда. Не всегда отвечает. Знать, не хочет душе твоей вреда, коли видит, что просьба твоя ей повредит. Знать, бережёт. Голос Божий, Его забота о нас, грешных подчас и не видны, и не слышны. В отличие от созданий Своих, Он печётся о нас тихо, наполняя всякое действие любовью и тайным смыслом, который понимаем не сразу, а то, быть может, и под конец земного бытия. Бывает и так, что принимаем за Него иные силы и голоса. В особенности, когда голоса эти слишком уж громкие и явные, да ведут, как правило, в такие дебри, в такую трясину жизненную, из которой вовек не выбраться. Так и плутает человеческая душа в потёмках, так и гибнет, неприкаянная, окаянная.

А мы-то, дурни, по духовной своей неразвитости считаем, что Бог вроде денщика: отвечать должен громко и по уставу, исполнять — сей же час. Так и Сашка вначале. С полгода молился, обретая в молитвах нескончаемых внутренний слух, чуткость сердечную, понимание Божественного молчания, знаки воли Его, подчас настолько удивительные, что рассудком человеческим, слабым, никак не понять. Стоило ему помолиться давеча об инвалидной коляске для одного штурмана 50-го авиационного полка, как уже через неделю в газетном киоске возле метро “Краснопресненская” повстречал паренька, который киосками этими теперь заправлял. В куртке кожаной итальянской. С цепью золотой на шею. Пальцы в перстнях. Знать, прибыльна “свободная пресса”. Присмотрелся. Господи! Так ведь это же тот самый херувим, что на перевале антенной ему культи вязал да тащил, раненого, до борта. Обнялись, как родные. До шашлычной, которую держат здесь азербайджанцы, пятьдесят шагов. Заказали вина, кутабов, бараньих яиц, рёбрышек. Уплегали всё это богатство до глубокой ночи, до последней электрички. Так что возвращаться пришлось на такси с двумя тысячами долларов на коляску в кармане. Разве не чудо?

Со стужей декабрьской, сугробами, что намело всего-то за две недели так, что от калитки к дому пробирался узкой тропкой, с метелями ночными наполнилось его обиталище и благостью, и таким несказанным уютом, что и носа казать за порог не хотелось. Запасался в сельской лавке крупой, маслом постным, сухарями маковыми, чаем индийским на целую неделю, выслушивая без всякого интереса досужие разговоры односельчан про гибель страны, которой он прежде служил, а теперь отчего-то потерял к ней интерес. В конце октября взял отпуск за свой счёт. А через месяц и вовсе уволился из администрации, понимая всю бессмысленность взятых на себя обязательств и невозможность что-либо в администрации этой поменять. Мир, куда он только что приоткрыл дверцу, был куда царственнее и величественнее, чем та возня и грызня, что велись и в кремлёвских залах, в кабинетах на Старой площади. Да и пенсия его геройская, звание, инвалидность позволяли жить за государственный счёт хоть и не богато, но вполне сносно. Женщина добрая, у которой он снимал дачу, недавно упокоилась с миром, а перед смертью в благодарность за молитвы его неустанные, из жалости к безному дачу эту на него переписала. Японский “джип” тоже достался ему почти даром от Ассоциации воинов-интернационалистов в благодарность за



законопроект, который инициировали в администрации и протащили в Думе ещё минувшей весной. Ни о чём никого не просил, не требовал. Вот оно и складывалось по Божьему попущению. По причине более чем скромного существования, потребностей малых, треть пенсии отправлял матери, другую часть — Лиле. Что осталось — на книги и пропитание. Лиля раз в неделю присылала ему короткие письма, в которых сетовала на потерю духовной близости, иссушение чувств, отсутствие мистического общения. “Что случилось? — спрашивала она. — Я совсем не чувствую тебя рядом”. И добавляла в каждом письме непременно: “А ты? Чувствуешь моего Ангелочка? Видишь её?” Но он уже давно её не видел. Ни её. Никого иного. Сны покинули его, казалось, навечно.

### 23. Антиохия. В год консульства императора Диоклетиана VIII и императора Максимиана VII (303 год)

*Клариссим*<sup>28</sup> все это утро провёл в дворцовых термах, где несколько стройных юношей и наложниц приводили его в чувство после вчерашней попойки.

Термы эти, в которых парили свои божественные тела консулы и цезари увядающего Рима, восхищали и приводили в священный трепет тех немногих, кого пропускала во дворец преторианская гвардия.

Семьдесят инкрустаторов александрийских, двадцать шесть каменотёсов, привезённых сюда с острова Порос, да нубийских рабов без счёта трудились над их строительством не меньше года, ибо по замыслу их создателя, хромого греческого архитектора, термы эти по изысканности своей и парадности не должны были уступать столичным, носящим гордые имена Агриппы, Нерона, Тита и Каракаллы. Ну, разве что размерами скромнее.

Шесть великолепных колонн драгоценного пентелийского мрамора, того самого, что в тени кажется пепельно-голубым, зато на солнце вспыхивает золотистыми прожилками и крупницами воистину царственным сиянием, словно шесть столпов света, украшали изысканный фронтон с запада и с востока. Исполненные в человеческий рост мраморные изваяния речных нимф — такой чистоты и невинности, будто застыли по мановению волшебства в призывных танцах, — украшали ниши жёлтого травертина. По ступеням пурпурного порфира, мимо двух исполинских рыб, по которым беспрестанно струится источник, и оттого они блестят и серебрятся, словно выловленные только что, лежит путь ко входу в сами термы. Юная Венера в окружении трёх пеликанов, высеченная из паросского мрамора и диковинного в этих краях нефрита, фактурой и цветом напоминающего скорее сало, чем камень, встречала гостей бурлением пены и клубами пара из выведенных сюда керамических труб различных диаметров и назначений от четырёх печей. Стены украшали дивные творения безымянных инкрустаторов по мотивам мозаик Диоскурида. Мастера почти не употребляли в работе речную гальку, но использовали самодельную смальту и лишь иногда цветные кубики *тессеры* из смеси толчёной черепицы с известью. Изображения плодов земли, — а их было несколько сотен, от известного всем ячменя, овса, репы до африканских плодов сикоморы, фиников, сахарного тростника, — украшали восточную стену; западную — изображения плодов моря, каковых тоже было без счёту, от пучеглазых глубоководных рыб и задорных дельфинов до донных раков и угрей змееголовых. Полы с модным мозаичным покрытием строгой греческой геометрии, изготовленным из терракоты с небольшими вкраплениями золотистой смальты. Терракотовые же горшки с живыми орхидеями, цветущими лианами, кустами лаванды, фиалками радовали обоняние и глаз, райские птицы с царственным позументом хвостов улаждали слух. Здесь, на мраморных скамьях и лежанках *тепидария*, хорошо спалось. И только неугомонный говор родниковых вод фонтана, только сладостный говор птиц напоминали, что боги любят тебя, коли даровали ещё при жизни такую негу, такое царственное отдохновение.

Следующий зал, *кальдорий*, с куполом и двумя рядами окон под сводами, чей жёлтый мрамор разогревался горячим воздухом из печи до температуры

пустынь египетских в июньскую пору, так что возлечь на него было едва возможно: приходилось поливать водой студёной, мокрыми простынями устилать, прежде чем банщик примется разминать да мылить твоё уставшее, замызганное многими пороками тело, выковывая его, словно Гефест в кузне. Банщика звали Тамаль. На невольничий рынок в Дамаске он был привезён из Нубии и вот уже десять лет служил при дворце, услаждая клариссима своей чёрной и гладкой, словно горный обсидиан, кожей, яростной, животной силой и абсолютным молчанием, поскольку после определения в термы ему отсекали язык.

Прошедшая ночь закончилась на рассвете, когда дворец покинул императорский префект вместе со своей хлопотливой свитой, состоявшей не только из чиновников, военных и сановных людей, но и нескольких писателей из Александрии, женоподобного баснописца, веселившего честную компанию короткими сатирами на известных столичных сенаторов и на самого императора. Клариссим попросил тут же, во время пиршества, прочесть сатиру и на себя самого. Баснописец, должно быть, давно её выучил и прочёл под истерический смех собравшихся:

*...Quidquid habes, age,  
depone tuis auribus. Ah miser,  
quanta laboras in Charybdi,  
digne puer meliore flamma!  
Quae saga, quis te solvere Thessalis  
magus venenis, quis poterit deus?  
Vix illigatum te triformi  
Pegasus expedit Chimaera<sup>29</sup>.*

К рассвету египетская депутация, как говорится, утопала в объятиях Бахуса. Кое-кто уже громоподобно храпел, уронив буйны головы в блюда с остывшей бараниной, карминовыми раками, подавленным виноградом со смоквами. Те, что помоложе, продолжали кутить, вливая в себя кубок за кубком разбавленного и оттого коварного вина. Императорский префект, озабоченный беспорядками в Пальмире и хронической бессонницей, которую ни вино, ни опиум не унимали, дремал в забытьи не больше пары часов, а очнувшись, тут же повелел седлать лошадей и паковать поклажу, чтобы выехать из города по холодку. Клариссим, пошатываясь и проклиная бессонницу префекта, сопроводил депутацию до самых ворот, а оттуда направился в термы, которые всякий раз готовили к утру после господских пиршеств.

Пустынный зной калдария разморил его хуже прежнего. Взор клариссима повело кругом. Глаза закатились. Повелитель обмяк тряпкой на руках подоспевшего банщика. Тамаль пришлось выволакивать его к прохладным бассейнам, опустить на ложе, прикладывая к вискам холодные тампоны с розовым маслом, совать под нос флакон с уксусом. Очнувшись от синкопы, светлейший первым делом сблевал. И на банщика своего бесценного, чёрного, и на ложе, и на пол. Воздух сразу же сделался кислым, как если бы то были не царственные термы, а самая захудалая городская забегаловка. В тот же миг светлейшего утерли, умыли, зловонную кислую лужу собрали тряпьем, лепестками розовыми воздух освежили. Словно дитя неразумное, болящее на руках перенёс Тамаль своего господина в неглубокий бассейн с изображениями играющих дельфинов по краям, где поджидали его специально обученные наложницы в туниках тончайшего хлопка, сквозь который возбуждённо торчали острые соски груди, крутые бедра с выбритыми лобками. В прозрачной воде тонкий хлопок и вовсе превращался в паутинку, открывая повелителю все самые сокровенные девичьи изгибы и складочки. Да тот, честно говоря, по причине глубокого похмелья и необычайной слабости после обморока на наложниц внимания не обращал. Грузный шестидесятилетний мужчина с короткой шеей, раздувшимся животом, кривыми конечностями, покрытыми густой шерстью, с двухдневной щетиной на иссечённом морщинами лице с двумя продольными шрамами, завоёванными во времена войн с галлами, и удивлённо вскинутыми бровями над блёклыми,

словно застиранными глазами мало чему удивлялся и уж тем более не восхищался почти ничем. Покуда наложницы, намеренно касаясь его тела грудями и бедрами, намыливали тулово клариссима да смывали затем пушистую, ароматную пену, тот смотрел куда-то мимо. Изредка зевал. По привычке скорее, нежели от каких-нибудь даже мимолетных чувств хлопал по бедрам девушек. Как хлопал он по крупу своих племенных жеребцов в стойлах.

Девичам на смену вскоре подросли несколько юношей оскоплённых. Под руки вывели из бассейна к столу розового оникса, укутав толстыми льняными простынями. С аккуратностью уложили на живот. Тонкая струйка оливкового масла с отдушкой из дикой лаванды и розмарина пролилась по позвоночнику. И вслед за тем лёгкие, но сильные пальцы принялись растирать и втирать в кожу светлейшего целебное масло. Восемь ладоней. Сорок пальцев одновременно то медленно, то поспешно впивались в его мягкое, укрытое толстым слоем подкожного жира тело; разгоняли ток лимфы и загустевшей от избыточного сахара крови. Придворный эскулап утверждал, что именно чувственность молодых тел способна творить со старцами чудеса, а потому рекомендовал и днём, и ночью окружать себя молодёжью. Жена светлейшего, с которой он сочетался брачными узами в дафнийском храме Зевса не меньше сорока лет назад, теперь проводила дни в собственном дворце на задворках стадиума в обществе полусотни приживалок и слуг да, поговаривали, нескольких молодых удовлетворителей. Клариссим к этим разговорам относился с усмешкой. Жена была давно ему не мила. Как, впрочем, и никто иной на этом свете. После трагической гибели двух его наследников, которых забрал к себе Посейдон во время морского путешествия в Дамаск, отношения с женой расстроились окончательно. Она считала его виновником этой трагедии. А он полагал, что общее горе должно было сплотить семью. Каждый переживал гибель детей самостоятельно, всё глубже погрязая в одиночестве и необратимой печали. Так и привыкли жить друг без друга.

Когда юноши перевернули его на спину и взялись за раздувшийся живот, руки, шею и крохотные гениталии, резкий металлический скрежет и грохот потасовки донёсся из тепидария. Взглядом единым повелел одному из юношей пойти и разобраться, в чём дело. Тот ушёл. И вскоре вернулся с улыбкой на тонких губах:

— Дьякон христианский хочет видеть тебя, светлейший.

— Дьякон?! — удивлённо вскинул брови клариссим. — Вот это новость! Не иначе хочет крестить меня в собственных термах, раз припёрся сюда чуть свет.

Подумал мгновение. Расплылся в маслянистой улыбке:

— Ладно. Пусть ждёт. Я приму его, когда сочту нужным.

Юноши растирали тело клариссима ещё не меньше часа. После наложницы обрезали и полировали ногти на пальцах ног и рук. Мелом и бархоткой зубы полировали. Расчёсывали да завивали, да красили персидской хной редкие волосы. Эскулап пустил целую склянку крови. И такую же склянку взял царственной мочи, сообщив, что на вкус и цвет они хороши и не вызывают никаких опасений. Одевали не меньше получаса: в невесомые нижние тунники, а поверх — в пурпурную, тяжелую трабею, в сандалии высокие со множеством серебряных застёжек и кожаных шнурков, что мягко укутывали лодыжки. Золочёный венец возложили на редеющую власами башку. Юноши и девицы во главе с негром сопроводили его до тепидария, где на краю мраморной скамьи у самого входа смиренно ожидал одноглазый Феликс.

То ли римская кровь разыграла в сердце благочестивого до недавних пор дьякона, то ли ханаанское воспитание, однако же, скорее всего, простая, но губительная для всякой христианской души гордыня привела его сегодняшним утром в термы правителя. Бастардское его происхождение, рабское детство, убийство хозяина-извращенца, последовавшие вслед за тем мытарства, видать, вызвали в душе Феликса такую от жизни усталость, что обретение Христа стало спасительной пристанью, садом цветущим, в котором нашёл он долгожданное отдохновение. *“Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу...”*<sup>30</sup> Казалось ему, что даже дарованный Господом сан — дарован не то чтобы в благодарность,

но как бы в награду за прижизненное его мученичество. А поскольку в жизни своей страдал он куда больше иных прихожан, что и видом самим, и статью, и положением до рабского состояния ни на мгновение не снизились, даже представить себе не могли, что значит быть вечно гонимым, вечно униженным, битым, то полагал, что Господь может любить его крепче прочих. Горемыка, он так и не принял Христовой любви! Долгие молитвы, изнурительные стояния, ночные бдения дьякона оставались безжизненны и сухи подобно пустыне, поскольку не были исполнены любовью и верой, но лишь желанием божественного внимания и даже богоизбранности, которой, по его мнению, он был достоин, раз он уже не простой прихожанин, но дьякон, раз служит у Его престола, коли склоняются пред ним, рабом, в поклонах прихожане. Потому-то, должно быть, и не слышал его Господь. Раб сословный, к несчастью, так и не стал рабом Божиим, но остался рабом греха. По наивности, а вернее, по слабости веры, он равнял сан со святостью, даже не понимая, что, напротив, священнический сан обременяет сонмом чужих грехов, смиряет до состояния более низкого, чем у раба сословного, у которого хоть есть возможность возразить или сбежать. А тут — куда скроешься? Феликс же в рабское своё состояние, даже под омофором Богородицы, возвращаться не желал. Что есть сил, каждым своим поступком, каждой молитвой доказывал Господу, что достоин быть ближе к Нему, чем все остальные. Более того, зорко следил, кто на пути его этом к сияющим вершинам обходит. А ведь ещё как обходят! И Киприан, которого он ещё мальчиком повстречал на Олимпе, которому показал Христа, да тот не вял, с десятков лет служил Сатане. И в результате своих злодеяний, не иначе как злонамеренным обманом, проник в дом Божий. Ныне, гляди-ка, уже и епископ! Или Иустина, которую не кто иной, как Феликс, увлёк словом Божиим, посеял в ней любовь к Спасителю! С молодых ногтей жила в достатке. В неге языческой. Нужды и горя не ведала. Отказала юноше в любви. Разве это заслуга перед Всевышним? Доблесть разве? Христианский подвиг? И вот — диакониса. Уже и общину под начало её передают.

Сколько бы раз ни печаловался он епископу Анфиму, сколько бы ни увещевал не принимать решений поспешных, тот дьякона своего будто не слышал. “Умерься, чадо, — повторял неустанно. — Господь — крепость наша. Искусительно в неё не пробраться”. А смириться не получалось. Лишь завидит на службе Киприана или Иустину, а того хуже, обоих сразу, точно волной морской захлестнёт сей же миг. До удушья. До звона в ушах. Мысли тёмные роем ночных мотыльков рвутся прочь. Слова осуждения и даже проклятий — на кончике языка. Сдерживал себя. Читал про себя и в голос молитвы супротив осуждения, сердец воспламенения. Только естество его всё одно мало смирялось.

Рассказать обо всём властям дьякона надоумила служанка Ануш, которую Киприан по причине совершенного выздоровления матери отставил от должности, превратив и усадьбу свою богатую, и сад в монастырь женский, во главе которого как раз и поставил благочестивую Иустину. Теперь здесь неустанно молились, за хозяйством следили и опекали епископскую мать пять сестёр, не считая матери-настоятельницы. Очутившись не у дел в компании с престарелым сторожем, который и слышал к тому же вполуха, вместе с ним с утра до вечера бродила теперь по городу да по базарам его, по тавернам в поисках работы и слушателей, жадных до сплетен городских. Одноглазый повстречался им в *пошине*<sup>31</sup> “Эдип в запое”, что притулилась возле стены Селевка, неподалёку от колоннады.

Услышал Феликс жалобы отставных слуг по чистой случайности, но, как только сообразил, что служили они прежде епископу Киприану, подсел за их стол. Заказал кувшин молодого вина, горячего хлеба, оливок жирных. С каждой новой чашей прислуга становилась всё говорливей, доверчивее. Рассказывали и о том, что было, и о том, что лишь им казалось. Выбалтывали без всякой на то просьбы семейные тайны, кои им не были доверены, но случайно подслушаны, подсмотрены, замечены. Про демонов, да чертей, да про самого Сатану, что в доме этом гужевались да прислуживали Киприану со всем своим дьявольским отродьем, сообщить не преминули, позабыв

добавить, конечно, что происходило это всё в прежние времена, по прошествии которых сам Киприан во служении с Иустиною чуть ли не целых два дня каждую комнату, каждый клочок сада от скверны дьявольской молитвою да честным Крестом, да святой водой очищали. “Знали бы правители наши венценосные, что тут у них под носом творится, — проливала пьяные слёзы Ануш, — живо бы спохватились! Не иначе, заговор какой заплетают. Народ-то к ним валом ломится. Да каждый день! Да всё втайне”. “Чистая правда, — вторил ей захмелевший тугоухий сторож в отставке, — запор и понос есть главные государственные заботы”!

Искра скверны возгоралась в душе дьякона не сразу. Поначалу он гнал эти мысли прочь, понимая, что донос такой слишком напоминает поцелуй Иуды в Гефсиманском саду, хотя тут же и оправдывал себя: ведь в отличие от Иуды, денег он не хочет и даже не помышляет о них. Получается вроде как и не донос, но повод обратить внимание властей на странного этого человека. Раз уж Церкви всё равно. Может, власть озаботится этим Киприаном. Да и Иустиною заодно.

Тут ещё нужно учесть, что Феликс, как ни странно, благодарен был Антиохии за чудесное призрение и избавление от мытарств, хотя на самом-то деле, знай местные власти о его преступном прошлом, тут же заключили бы в темницу и казнили на другой же день. Но за давностью лет и в Дамаске, и тем паче в Антиохии о беглом рабе попросту забыли, а сам он состарился и совсем не походил на того дерзкого юношу, который разбил череп ветерана Скифского легиона. Помимо благодарности, рабская душа Феликса испытывала даже некие патриотические чувства и гражданскую ответственность перед страной, которая его приютила. Всё это, пусть и не сразу, а постепенно — сперва слабеньким ручейком, позднее бурной рекой — привело его к мысли сообщить о Киприане властям. Да взять с собой недовольных, каких в большом городе можно было найти немало. Набралось таких больше дюжины. В основном, конечно, то были выходцы из местного плебса, пара прощелыг никомедийских, рассчитывающих урвать что-нибудь из имущества, и несколько отлучённых от Церкви христианской и потому пламенеющих на неё пуще язычников. Но даже они, все эти алчущие или обиженные люди, искренне недоумевали, почему их профессию возглавляет дьякон христианский, казалось бы, брат епископа во Христе? На это у Феликса тоже имелся свой ответ. “Сие не есть предательство Господа нашего Иисуса Христа. И епископ — не наместник Его на земле. Хоть и правитель Церкви, да всё же человек. А людям свойственно ошибаться”. Сыскался среди отставных христиан и комендант дворца. Он-то и провёл депутацию к светлейшему. Но в термы впустил только дьякона. Остальные остались ждать во дворе.

Устроившись в удобном палисандровом кресле на атласных алых подушках лебяжьего пуха, глядел светлейший на дьякона с любопытством, пытаясь распознать в глубинах одинокого его глаза подвох. Ни разу ещё последователь запрещённой церкви не являлся к правителю по доброй воле. Но лишь в кандалах. И, коли это вдруг случилось, значит, в поступке одностороннего либо добровольная жертва, либо такая же добровольная подлость.

— Надо воздать тебе должное, дьякон, — усмехнулся тонкими губами, — отсюда на крест вверх ногами — самый короткий путь. Но в глаза твоём не вижу страха.

— Чего мне бояться, светлейший?! — отвечивал Феликс. — Сколь помню себя, столько и секли, и били, и унижали. Не распинали — это верно. Но распятие — счастье для христианина. Рим даже не знает, сколько радости он доставляет последователям Христа, распиная их подобно Тому, в Кого они так веруют. И как укрепляет тем самым веру нашу.

— Да брось ты! — раздражённо парировал клариссим. — Ни разу не встречал человека, который принимал бы мучения с радостью! Смерть — возможно! Когда она — избавление от страданий. Когда она — за родину. Или Цезаря. И даже во имя любви! Но истязания принимать с улыбкой невозможно. Уж поверь. Сколько я их повидал!

— Ты прав, светлейший. Даже Христос страдал на кресте. Но тут важно, во имя чего страдаешь. Его подвиг повторить невозможно. Ибо Его

распятие и Его страдания — за всех нас. Ну-ка, попробуй за чужого тебе человека хоть палец порезать!

— Хочешь обратить меня в свою веру? — недоверчиво произнёс правитель. — Полагаю, ты не за этим сюда пришёл.

— Не за этим, — вздохнул с наигранной печалью Феликс и принялся рассказывать историю Киприана с того самого дня, когда впервые встретил его на Олимпе, свидетельствовал сперва о тёмных его злодеяниях, включая и недавний потоп, и чёрную смерть, что унесла сотни, а может, и тысячи жизней горожан, а после — и о его стремительном восхождении в Церкви христианской. Столь же необъяснимом и загадочном, как и прошлая его ворожба. Про обращение Иустины и про монастырь, где, помимо насельниц, собирается и иной люд, тоже упомянуть не забыл.

Клариссим слушал его молча, не перебивая, так что в какой-то момент одноглазый решил, что тот заснул. Возвысил голос. Однако правитель никак не отозвался. Смотрел в одну точку окаменело. Возможно, историей епископа заворожённый.

Когда Феликс завершил свой рассказ, светлейший ещё несколько минут молчал. Затем тяжко вздохнул и посмотрел в упор на дьякона:

— Сильна вера ваша, раз даже таких отпетых злодеев принимает ваш Бог. И таких предателей, как ты, на месте не убивает. Глядишь, и меня, нечестивца, помилует. Правду тебе говорю. Не будь я на сём месте, непременно примкнул бы к христианам.

Тут он расхохотался и долго не мог уняться, представляя себе это забавное зрелище: вот сенаторы и императоры принимают новую веру, рушат храмы олимпийских богов, кладут на чело крест да стройными рядами следуют за иудейским плотником и его апостолами.

— Однако, как ты, наверное, догадываешься, я человек зависимый. Хуже того, раб законов, императора и обстоятельств. Так что на мне и греха нет. Придётся действовать по закону. А вот с тебя, дорогой мой дьякон, спросится ещё как! Скажи, между прочим, Иуда не брат тебе?

— Не было бы Иуды, не было бы и Христа! — злобно выпалил Феликс и уже мирно добавил: — Я ничем не рискую, светлейший. И греха на мне нет. Если я прав, избавите страну от злодея. Если ошибся, вера наша обретёт праведника.

— А ты, случаем, не лжесвидетельствуешь?! — вновь попытался уйти от дальнейшего разбирательства правитель.

— Свидетелей достаточно, — уверил дьякон, — ожидают светлейшего во дворе.

— *Innocens ego sum a sanguine hoc*<sup>32</sup>, — заключил клариссим, поднимаясь с кресла и тем самым давая понять, что разговор закончен. Что дальше разбираться с этим делом должно люду служивому и таким делам специально обученному.

## **Кондак 12**

Благодать дана ти от Бога попирати силу вражию и всякое сатанинское нахождение, победил бо еси враги твоя и мученической кончины достигл еси, ныне же предстоя престолу Царя славы, молися о нас, да избавимся от пленения диавольскаго и избавлены вопием Богу: Аллилуиа.

## **Икос 12**

Поюще ревность твою по Бозе, дивная и преславная чудеса твоя, величаем и восхваляем тя, священномучениче Киприане, таковую благодать от Бога приемшаго, молим же тя, егда в час смерти нашея демонския полчища окружают души наша, тогда яви нам заступление свое, да избавленнии тобою, воззовем ти сице: Радуйся, от находящихся вражиих сил скорое защищение; Радуйся, от скорбей и печалей избавление. Радуйся, Христа до конца возлюбивый; Радуйся, душу свою за Него положивый. Радуйся, в Крове Агнчей омывшийся; Радуйся, во дворех Господних весливыйся. Радуйся, к сонму святых сопричтенный. Радуйся, Трисиянным Светом озаренный. Радуйся, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших.

## 24. Москва. Октябрь 1995 года

Видения вновь вернулись к нему столь же внезапно, как и покинули. Являли себя поначалу шорохом грушевой листвы за окном, ударами старой калитки, скрипом половых досок. Затем и тенями колеблемого света свечей. Сквозняком внезапным, что свечи эти разом задул. А то и дыханием жарким за спиной. Случалось это теперь чуть не каждый день на прочтении вечернего правила. И всякий раз холодела спина. Течение молитвенное прерывалось. Но, прервавшись, Сашка опять начинал читать, крепя голос, ещё решительнее и увереннее выкладывая на себя охранительный крест. Во дни эти, кроме чтения правила, молился усердно и Архангелу Михаилу, и батюшке Серафиму Саровскому, священномуученику Киприану. Само собой, “Отче наш” и девяностый псалом, каковой косит всякую нечисть навроде станкового пулемёта: *“Не убоишия от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоя тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приблизится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих”*. Но зло отступало от него лишь на короткое время. И возвращалось снова в видениях нощных, когда в бессилии, хоть и под доглядом святых угодников, метался на узкой своей кровати.

Виделся ему вновь Ангелочек в бесовском хороводе, да только лик её, прежде и правда ангельский, ныне стал смуглее, жёстче. Власы не прибраны, всклокочены. Взгляд иступлён, глаза остекленели. И нет в них ни ужаса, ни мольбы о пощаде. Слово уже и не жертва, но заодно с бесами. “Тадмор, — шелестел Ангелочек запёкшимися губами, — Тадмор, Тадмор”. И тянулся к нему пальцами с обломанными ногтями. Пробудившись от ужаса с непонятым словом на языке, принялся Сашка посреди ночи искать его в книгах и словарях и обнаружил на рассвете в списке самых страшных тюрем планеты, в античной сирийской Пальмире. Снова молился уже утренним правилом, вопрошая мысленно Господа, сообщать ли об этом матери. “Сообщать”, — распорядился Господь телефонным звонком с юга страны. Лиля выслушала его спокойно, точно и сама чувствовала неладное. Уточнила название местности, провинции, расстояние до столицы, будто вычисляя про себя, как сподручнее до тюрьмы добираться. А следующей ночью сама явилась ему в видениях.

Простоволосая, босая, сажей вымазанная. В слезах. В путах кованых наподобие кандалов, стальном ошейнике, в каких медведей диких водят. Нечисть мерзкая крути нарезает в хороводе сатанинском, воеет дико, желчью харкает, кровавой слизью. Сонмы бесовские и небо застыт серой мглой. Шелест перепончатых крыльев сливается в непрестанный гул, в морок, от которого нет спасения, потому как — нашествие, адская рать поднимается из преисподней. Баалов храм огнём священным мерцает, возвещая скорое их наступление. Литаврами медными победными оглушает окрест. Со ступеней амфитеатра, из гробниц порушенных пальмирских, из купален, веками осушенных, выползают они подобно чёрным личинкам, но векорости и выгупляются из них бурыми осклизлыми нетопырями. Жёсткой шерстью укрыты. Взглядом жёлтым, звериным в сердце устремлены. Пастью с чёрным языком, рядами острых кошачьих зубьев ощерены. Вот уже и князя бесовские в латах золотых, верхом кто на чёрном коне, кто на белом единороге, а кто и на драконе в стальной попоне. Взглядов их выдержать невозможно. Пронзают взгляды самое сердце сотнями игл, воскрешая воспоминания о забытых грехах и даже помыслах, распаяя окаянным огнём рассудок до безумства неистового. Трубы золотые и горны медные протяжным стоном марш возвестили. Смеются князья. Радостно им человеческое падение. Тот, что ближе остальных к несчастной, склоняется к ней и прижимает к себе, тащит в седло на драконью холку. И вот уже вдвоём с князем тьмы восседают на закованном в сталь чудище под визг и вопли мелких бесов. В смраде жжёной серы, посреди клубов сизого дыма, искр электрической сварки двигались всей своей

тёмной ордой прямёхонько на Сашку в желании смять, пленить, растоптать его бессмертную душу. *“Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его! — орёт Сашка, кажется, на всю Пальмиру и крестом размахистым осеняет и князей тьмы, и их армаду, и античные развалины с угнездившимися в них бесами. — Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе, Крест Свой Честный, на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девею Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь”!* Замерло войско бесовское. Оцепенело. И через мгновение осыпалось серым тленом. И князья, и лошади, и единороги, и руины пальмирские, и парящая в небе рать. Только Лиля осталась. Лежала на истерзанной земле, казалось, без чувств, без дыхания. Но вот вздрогнула. Застонала едва слышно. Отверзла глаза. Смотрела на него безумно. Но взгляд её прояснялся, обретал смысл, словно возвращалась мыслями и сознанием из далей нездешних, а вскоре и вовсе обрёл прежнюю ясность. Узнала. Поднялась. Прикрывая лохмотья, что остались от её нарядов, пошла навстречу с усталой, мученической улыбкой на милом лице. Приблизилась на расстояние вдоха. И в ту же секунду хищно впилась в его шею.

Она бы и убила его, если бы зубы порвали сонную артерию. Но вошли в мясо. Боли он не почувствовал. Только безотчётный страх, сковавший волю путами незримыми. В рукопашном этом бою из последних сил отпихнул её от себя. Осенял крестом непрестанно, хлестал молитвой Иисусовою: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго”. А та рычала в ответ. Скрючившись возле его ног, выгибалась дугой, царапала пальцами землю, драла волосы. Но он всё осенял и хлестал без счёту, осенял и хлестал, покуда, наконец, не унялась, не затихла в беспмятстве.

Очнулся он весь в липком, затхлол поту, ещё и не осознавая доподлинно: свершилось всё виденное им только что в страшном видении иль наяву. Настолько видение это было живым, насыщенным не только образами, но и запахами, и звуками, и даже вкусом. И лишь добравшись до ванной, взглянув на себя в зеркало с корродированной амальгамой, вздрогнул от ужаса. На шее чуть правее сонной артерии в густой синеве кровоподтека ясно виднелись следы человеческих зубов. Глядя на отражение, долго крестился, а потом забрался за пластиковую занавеску, открутил кран с холодной водой и стоял так под секущими струями, пока студёная влага с запахом ржавчины и хлора смывала с него ужасы ночных ристалищ.

Днём микротоки телефонной проводки донесли до него и голос самой Лили, что поведала о тех же самых видениях вплоть до мельчайших деталей вроде кастебруста драконьих доспехов, сладких слов, что нашёптывал бесовской князь, сияния Баалового дворца. Только вот укуса она не помнила. Утверждала: он укусил её за плечо. Даже след остался. Поведала и о том, что в порушенный Рыльский Свято-Никольский монастырь не так давно прибыл духоносный батюшка, в прошлом — Глинский послушник, Афонский монах отец Ипполит. Люди говорят: принял он на себя помимо прочих ещё и подвиг отчитки. Так что едет к нему народ со всей страны безостановочно. Решила и она сходить, покуда окончательно в колдовском своём грехе не потонула. Вдруг и поможет Тот, над кем прошлую жизнь потешалась? Ибо тот, кому служила, если и не в петлю тащит, так в какое-то беспросветное томление духа. В пекло духовное.

Видит Сашка Лиллю опять следующей ночью. Запустение видит. Порушенный храм, на крыше которого и берёзки уже проросли, и бурьян, да и ржавая жестянка купола давно прогнила, прохудилась. Крест на куполе покосился, согнулся под тяжестью человеческого греха. Возле храма — каштан, должно быть, храму ровесник. Бессловесный свидетель его расцвета и порушения. Под кроной разлапистой, тенистой — старец седовласый. Чётки из косточек оливковых в левой руке. В подрясничке ветхом.



В душегреечке потёртой, а местами даже засаленной до скользкого блеска. Нос бульбой. Взгляд просветлённый, чистый, родниковый. Борода пегая с белоснежной прядкой посередине. Люд перед ним сгрудился переминающейся, воздыхающей, парящей на утренней прохладе толпой. Тёмен люд. Угрюм. Лишь изредка залает псом игривый младенец. Иль молодка в чёрном посадском платке с алыми розами примется вещать мужицким голосом. Кто-то и закричит пронзительно, будто его сейчас пронзил острый нож. Погослит немного, да и затихнет. Иных трясёт. От утренней ли прохлады. От жара ли нутряного, но, скорее всего, от встречи грядущей с прозорливым старцем.

Вот и Лиля к нему подошла. Рухнула на колени травой подкошенной. Голову в платке бумазейном, бледном, склонила. Говорит что-то горячо, поспешно, стремясь выговориться перед старцем за всю свою жизнь. Вот только слов её не понять. На чужом языке говорит Лиля. “Т’эт’ Мальч’утух, — повторяла она, — Мальч’ута Ухейла Утищбухта Ль альам альмийн”. Старцу же слова её, видать, были понятны. Кивал, слушая, чётки из оливковых косточек неспешно перебирал. Долго слушал. Уже и толпа ожидающих сердито урчит, рошчет дикими голосами. Наконец погладил Лилию по склонённой голове. Улыбнулся. Спросил:

— Знаешь, сколько крыльев у ангела, матушка?

— Два, — сказала Лиля по-русски.

— А у херувима?

— Шесть.

— А у человека?

— Не знаю, батюшка, — ответила ему со смущением после короткого замешательства.

— Сколько любви, столько и крыльев, — молвил старец и добавил: — А ты, матушка, терпи и молись Святителю Николаю. Я ему всегда молось. Он и тебе поможет.

Жизнь земная со всеми её суетными переживаниями волновала Сашку всё меньше. Войны кровопролитные, подлость и корысть властителей мира сего, голод и нищета, охватившие целые страны и континенты, разгул стихий, уничтожающий народ тысячами и сотнями тысяч, таяние арктического льда и даже смерть последней абингдонской слоновой черепахи виделись ему совсем в другом свете. Несуетном. Промыслительном. И оттого — трагическом. Что есть жизнь, если не цепочка невидимых и неразличимых взаимосвязей, чей тайный смысл становится понятен, только если подняться над жизнью, смотреть на неё не замыленным бытом взглядом, в котором смерть последней слоновой черепахи вовсе не случайность, но следствие равнодушия, алчности, тщеславия и гордыни, сплетённых в цепочку обстоятельств и событий, от смерти этой, казалось бы, совсем далёких, но вылившихся именно в смерть? И нет больше на земле ни одной черепахи. И тают льды. Так и человек, чья божественная сущность вспоминается лишь иногда, редчайшим секундным озарением. Под спудом греховным живёт она. Пути обстоятельств и событий повязана, не чувствуя подчас этих пут. Не понимая, сколь губительны они, хотя вроде и не причиняют в жизни земной никакой боли. Но уже онемела. Слепела. Парализована. Однако стоит только подняться из последних духовных сил да с молитвой сокровенною в горние дали, стоит взглянуть оттуда на жизнь нашу брENNую да суетную, вот тут-то и становится ясно: и черепаха, и лёд, и человек — всё это в промысле Божьем, всё в его власти. И коли тает лёд, сдохла черепаха, гибнет в сетях греха человек, значит и на это — Его воля. Значит, в силах Его всё это воссоздать и воскресить, как воскресил Он уже однажды Своего Сына. Кто-то посчитает это фатализмом, но Сашка свято верил теперь: вся его предыдущая жизнь, в которую уместилась и смерть отца, и война, и ампутация, и звезда геройская, и Лиля с бесами, — всё это звенья той самой, лихо скрученной цепочки обстоятельств и событий, что наконец привели его, безногого и падшего духом, пусть пока что и не к Божественному престолу, но на путь. И с каждой молитвой поднимают, поднимают всё выше и выше в дали горние.

Ведь говорил же вслед за премудрым царём Соломоном и апостол Павел: “Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает”. Так и Сашку в восхождении его в вере что ни день поджидали разнообразными, и мелкие, и тяжкие напасти, какими проверялась стойкость его, крепость веры. То электрический чайник на кухне вдруг заискрился да оплавился, чуть было не подпалив и кухню, и дом. То от порывистого весеннего ветра треснула и со стоном обрушилась прямехонько на крыльцо старая берёза. Еле на крыльцо пролез. Затем часов не меньше пяти пилил сучья, ствол, волок берёзовые останки к костру, ладил доской крышу, ступеньки латал. Взмок цуциком. Да и простудился на студёном ветру. Неделю провалялся в койке, исцеляясь молитвой, малиновым вареньем с иван-чаем, эвкалиптовыми пастилками, вьетнамской “звёздочкой”. В тот же месяц и мама с сердечной аритмией слегла в Шадринске. Сердцеведы провинциальные, не слишком, видать, в сердечных делах подкованные, до одури наштиговали маму всяческой химией, отчего сделалось ей совсем худо — в реанимацию отправили маму. Едва отмолил.

А тут ещё и отец Антоний, которому исповедовался в грехе соучастия в спиритизме, но полчился и грех не простил, наложив суровую епитимию.

— Уж на что Саул был угоден Богу, но и он Его прогневал, оборотаясь к волшебству, — распекал иерей, склоняясь над Сашкой. — Сам не заметишь, как очутишься во власти Сатаны. Это ведь как зараза инфекционная. От одного на всех домашних рано или поздно перейдёт. А там и до последней степени обольщения рукой подать. Сила бесовская рассудок повредит. И доведёт до самоубийства. Как Саул. “Мечом и голодом будут истреблены эти пророки; и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам города от голода и меча... И Я изолью на них зло их”. В прежние времена отлучили бы тебя от причастия на двадцать пять лет как душегуба. Прочтёшь Евангелие двенадцать раз. Через три месяца приходи. Авось врачевание духовное на пользу пойдёт. Главное, ведьмы сторонись.

А как её сторониться? Звонит чуть не каждый день. Письма пишет. Сообщает о монастырской жизни, в которую после встречи со старцем погружается всё глубже, обретая в ней и интерес, и смысл куда больший, чем в ведовстве. И на службы ходит, и многие молитвы знает наизусть. Только к причастию старец её покуда не допускает. Хитёр бес, изворотливей аспида. Смиренностью внешней облечён, покорностью младенческой. Бывает, и молитвы повторит. Бывает, и Херувимскую поёт, как пел он её перед египетским аввой. И всё ради того, чтобы размякла человеческая душа. Вражеского подвоха не заметила. И отдалась лукавому по доброте своей и доверчивости.

Вооружённый иерейским благословением, Сашка на письма больше не отвечал, к телефону не подходил. Даже провод телефонный перерезал. Вставал до рассвета и за труд духовный принимался, который, как оказалось, куда тяжелее труда физического и ратного. Семь потов сойдёт, пока прочтёшь вдумчиво, сосредоточенно, коленопреклонённо и правила, и Евангелие, и акафисты. Да Иисусову молитву до изнеможения. С искренним, до горьких слёз покаянием. С любовью и верой. Труд молитвенный ни с одним другим не сравнится, а плодов его, в отличие от труда, скажем, плотничьего или портняжного, не увидеть. Плод такого труда — Божья благодать, что ощущается только сердцем, сравнима разве что с детской беспечной радостью, с обретением рая в душе. Как и клялся, вычитал двенадцать раз Евангелие и уж совсем было приблизился к завершению, приступив читать в последний раз “Откровение Иоанна Богослова”, как явился ему тот, от кого он все эти месяцы скрывался. Сам Дьявол вошёл в его дом.

В стиле течения поздней осени вечер тот выдался на редкость тёплым и мягким. Испарения влажной, гниющей листвы духовитым туманом густым заволакивали и железнодорожные рельсы с насыпью, и ветхий штакетник заборов, дачные тропки под смоляными столбами линий электропередачи с тусклыми лампочками под жестяными ржавыми фонарями. Юноша в холщовом балахоне, в каковых ходили прежде разве что хиппи, в джинсах потёртых, а местами и драных, появился у дверей уже потемну. А поскольку

дверной звонок последние несколько лет существовал лишь для виду, принялся колотить в дверь, хоть и деликатно, но настойчиво. До тех самых пор, пока не услышал его хозяин и дверь не отворил. Отрок представился нарочным из Мазеповки с поручением доставить сельский гостинец: корзинку груш, шмат домашнего сала, целого гуся. Помимо того, почтовый конверт с портретом Максима Горького, на котором значились Сашкины фамилия и имя. Нарочный в балахоне своём, видно, совсем продрог, несмотря на тёплый вечер. Губы его тонкие побледнели. Молочной голубизной подёрнулись. То и дело охватывала мальчика мелкая дрожь. Глаза бездонные, черносливовые безмолвно умоляли сжалиться, пригреть отрока, который, быть может, без усталости, без сна добирался сюда из дальних южных рубежей. Сашка сжалился. Старым ирландским пледом укрыл. В кружку глиняную цейлонского чая с сухой малиной и мятым листом заварил. Отогрелся мальчик. Лицом своим отроческим прояснился, порозовел. Озирается по сторонам с любопытством.

— Солдат? — спросил вдруг, глядя Сашке прямо в душу.

— Бывший солдат, — ответил Сашка с улыбкой, пытаясь понять, откуда тому об этом известно, ведь причиндалы-то все его армейские давно не надёваны, пылятся где-то в платяном шкафу.

— Многих убил? — задал следующий вопрос отрок.

— Не знаю, — содрогнулся Сашка и от самого вопроса, и от воспоминаний. — Это только идиоты считают. Или садисты.

— Конечно, не знаешь, — согласился мальчик. — Разве их всех сосчитать? Трёх младенцев. Совсем крошечных. Им и годика не исполнилось. Девять женщин. Из них двое были беременные. Одна на шестом месяце. Другая на восьмом. Должен был родиться мальчик. Очень умный мальчик. Будущий мулла. Проповедник и молитвенник. А ещё семнадцать мужчин. В самом расцвете сил. От девятнадцати до пятидесяти семи. Они защищали свои семьи. Свои дома. Женщин и детей. Только-то и всего. Ну, и напоследок — шесть стариков. Самому старшему было девяносто три. Его жене — восемьдесят. После инсульта она много лет не вставала. Их всех разнесли ракеты, которые ты навёл. Вот и вся арифметика, которую легко забыть. Или даже не знать вовсе. Взрывы. Огонь. Смерд. Кто их там будет считать, верно?

— Кто ты такой? — ошалело промолвил Сашка, ощущая вдруг, как наливаются, пульсируют кровью виски, а спина покрывается липкой испариной. — Что тебе надо?

— Я — никто и всё в этом мире, — улыбнулся мальчик, — восставший при конце, из бездны восходящий, в бездну входящий сего мира. Ибо несть предела пагубе вашей. Безмерны грехи, доколе обуреваемы вы ветрами страстей. Вот, жнец пришёл пагубам и страстям! Из колена Данова в силе своей, к престолу своему, в власти великой.

— Должно быть, ты не здоров. — пролепетал Сашка.

— Ой ли?! — возликовал отрок. — А не тебе ли бесы мерещатся? Девочки. Ангелочки. Запах серы. Шерсть звериная. Ладно бы однажды. А то ведь чуть не каждую ночь. Верно я говорю? Отказываться не станешь? Думаешь, молитва поможет? Но ведь не помогает. Молишься, молишься, молишься. До изнеможения. А толку? Ты себя спроси лучше про здоровье. Может, это ты свихнулся давно, герой? И немудрено. Столько покойничков за спиной, столько греха, столько гордыни. Даже поп от тебя отказался.

Словно пуля разожжила висок. Понял вдруг Сашка, что искуситель мира сего перед ним, князь тьмы, принявший обличие слабого отрока, испытует здесь и сейчас не только веру его, но и саму душу проверяет на прочность. Стоит только дать слабинку, стоит поверить и согласиться в малом, так и отверзнется бездна, из которой тот к нему вышел. Это как на войне. Держаться из последних сил. Отбиваться до последнего патрона. Через сопли, кровь, через боль и смерть, что жнёт совсем рядом страшный свой урожай.

— Изыди, Сатана! — крикнул Сашка, поднимаясь во весь свой рост. — Именем Иисуса Христа изыди!

— Да ладно тебе кобениться, — усмехнулся отрок, отхлёбывая чай из глиняной кружки. — Даже апостолы ваши пророчествовали: грядут последние

времена. “Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы...” Вспоминаешь? То-то. Апостол Павел из второго послания к Тимофею. Первый век. Как в воду глядел!

— Изьди, тебе говорю! — вновь прокричал Сашка, понимая, что тот хитростью своей хочет завлечь его в свои сети.

Хоть и цепенел от ужаса, от одного его дыхания и взгляда, оборотился к иконам, рухнул на колени и принялся вычитывать девяностый псалом.

— ...*Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надешися: оружием обыдет тя истина Его.*

А за спиной, слышит, уже и крылья перепончатые расправляются. И вонь смердящая полнит жилище его. И голос, уже совсем не детский, но порочный, хриплый вещает ему грозно на языке чужом: “*И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределённая гибель постигнет опустошителя*”<sup>33</sup>.

— *Не убоишия от страха ночнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго, — горячечно, в голос молился Сашка, то и дело осеняя себя крестным знамением. — Падет от страны твоя тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приблизится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши.*

Тем временем голос совсем иной послышался позади него. Женский.

— Сыночек, иди сюда. Обними свою маму. Мне очень больно, сынок. Жжёт!.. — закричала пронзительно, словно раздирают её на части. Истязают силы тёмные.

Но и тогда не обернулся назад. Всё стоял. Взывал на подмогу Христово воинство, как некогда поднимал и наводил на цель всю огневую мощь “полтинника” — пятидесятого смешанного отдельного авиационного полка.

— *Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.*

Глухим хлопком со звоном стеклянным взорвалась сперва лампочка. Затем и другая. Мрак непроглядный окутал жилище его. Только лампадка под образами освещает суровый лик Спасителя и любящий — Богородицы. Неподъёмное иофановское кресло Лунатика с лёгкостью необычайной пронеслось позади через всю комнату. Стаей хищных птиц, шумно размахивая страницами, полетели с полок книги. А следом и сама полка со стоном протяжным обрушилась вниз. Ожили и заскрипели половицы второго этажа под множеством ног, словно толкалась в безмолвном танце тёмная рать. А потом и музыка вдруг послышалась. Дремотная. Дурная. Знакомая ещё с подростковых пластинок “на ребрах”. Он узнал. “Без пощады”.

*Close the door, put out the light.  
No, they won't be home tonight.  
The snow falls hard and don't you know?  
The winds of Thor are blowing cold.  
They're wearing steel that's bright and true  
They carry news that must get through.  
They choose the path where no-one goes.  
They hold no quarter*<sup>34</sup>.

Стонет лестница под тяжестью тел, сонно бредущих навстречу. Всё ближе музыка “цепеллинов”. Все громче голоса, что воют гимн свой бесовской во все глотки, да вразной: кто младенческим голосом, кто старческим, кто истерическим, бабым. Слышит их Сашка совсем рядом. Столь близко, что воздух гнилостный, что истекает из чрев их вместе с беспощадными словами, окружает его со всех сторон густым мороком. Глушит. Дурманит.

*Walking side by side with death, — стонут супостаты, —  
The devil mocks their every step  
The snow drives back the foot that's slow, The dogs of doom are  
howling more  
They carry news that must get through, To build a dream for me  
and you  
They choose the path where no-one goes.  
They hold no quarter. They ask no quarter.  
The pain, the pain without quarter.  
They ask no quarter.  
The dogs of doom are howling more!*<sup>35</sup>

Тут и гусиный труп, что принёс ему гостинцем Сатана, поднялся из корзины. Крылья ощипанные расправил. Культиями обрубленных лап по доскам сучит. Шеей крутит обезглавленной. Гузкой вертит бесстыдно. Танцует.

— Шибче, Сашка! — орёт визгливо позади материнский голос, — Шибче, сынок! Покажи им, какой ты герой!

А тот и рад стараться. Вертится волчком, то и дело распахивая выпотрошенные внутренности. Скачет мелким бесом. Колотит культиями под бесовскую дудку.

— Гусак ты, а не герой! — гогочет позади кто-то из бесовского племени.

— Гусак Советского Союза, — вторит ему другой.

— В печку гусака! — орёт третий.

— В жаровню! В геенну его! На угли! — подхватывают остальные.

— *На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на асида и василиска наступиши, и попереши льва и змия,* — шепчет Сашка обессиленно, будто позади — бесконечный марш-бросок, ярая битва.

Это чувство он помнил ещё с войны. С той самой бойни среди Панджшерских скал, когда, казалось, огонь, и смерть, и ярость — они повсюду. И нет никаких сил. Только смирение. Со смертью. С неизбежностью конца. В это мгновение и снисходит на воина дух святой. Божественная благодать. Дарует силы. Дарует ещё один, последний, магазин патронов и пару гранат в окровавленной разгрузке убитого товарища. Зазевавшего духа, перезаряжающего автомат. Старую чинару, что прикроет тебя от огня. Вертушку, что вынырнет, наконец, из-за скалы. И спасение. Верить! Несмотря ни на что! Ни на кого не глядя. Верить даже тогда, когда кажется, что никто уже не поможет. Все оставили. Даже Бог. Верить в самый последний свой час на этой земле. Окунаясь в тонкую плёнку, что разделяет жизнь прошлую и жизнь вечную. Верить. И Он спасёт.

— Да яко на Мя упова, и избавлю и: покрью и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долголето дней исполню его, и явлю ему спасение Мое, — шепчет совсем уже измождённо.

Но слова молитвы его, словно пули, бьют и бьют в самое сердце беснующегося врага.

Всё стихло. За окном бледнел топлёными сливкам горизонт. Скорый поезд Москва — Лабытнанги мчался мимо, поднимая к низкому небу мешанину дождевых брызг, опавших кленовых листьев и оставленных надежд его пассажиров. Вслед за ним, но в другую сторону, потянула густая стая гуменников. Божак указывал им путь на Сиваш. И жвакал счастливо, предвкушая и себе, и своей стае пусть и долгий путь, да в конце концов счастливую, сытную и безмятежную зимовку на камышовых берегах гнилого моря. Дрозд запоздалый и жадный подьедал на старой рябине оранжевую россыпь подслащённой ночными заморозками ягод. Последний и самый стойкий осиновый листок из последних сил сосал нутряной сок матери, уже изготовившейся к долгому зимнему сну. Ярким желтком ещё радовал глаз посреди мерзости осеннего запустения. Зачем-то ещё жил вопреки неотвратимости конца. Трепетал робко на хладном ветру. Но вот оторвался. Взмыл ввысь, к материнской кроне, точно хотел в последнем своём полёте окинуть землю, увидеть её с высоты, прежде не доступной. Качнулся несколько раз. И, не чувствуя уж

больше под собой тугого ветра, плавно поплыл туда, где квасились, гнили и превращались в тлен тысячи его собратьев.

Сашка подхватил жёлтый трепетный желток почти у самой земли. Долго смотрел на него в изумлении, постигая эту простую и вместе с тем сознанием человеческим не осязаемую бесконечность и краткость всякого бытия. Улыбнулся. И спрятал листок среди страниц затёртого церковного помянника, где хранились у него имена живых и умерших, даруя ему тем самым жизнь если не вечную, то долгую.

## 25. Антиохия. В год консульства императора Диоклетиана VIII и императора Максимиана VII (303 год)

Пленили их на рассвете, едва лишь алая нить зари прочертила сумеречный горизонт. Ещё и птицы дремали в кронах деревьев. Ещё и месяц узкий не побледнел, отливал чистым серебром в чёрной пучине, и россыпи звёзд не померкли пока. Дремала даже река. Воды её цвета спелых оливок, казалось, остановили свой бег, ожидая пробуждения мира. И только раскалённое светило медленно вращалось в космической бесконечности, толкало малые и большие планеты, сгрудившиеся вокруг его жара в нескончаемом, божественном круговороте.

Солдаты подошли к дому неслышно, будто стая котов. Перекрыли снаружи все входы и выходы. Торопливо миновали сад, с хрустом подавив калигами нескольких неторопливых виноградных улиток. Ступили всей сворой в атриум и уж тут не таились: ударами ног вышибали двери, бесстыже вламывались в комнаты, горланили зычно, всем своим видом, поведением и действиями демонстрируя власть, решимость, насилие — над тишиной и умиротворением этого дома.

Ещё не услышав, но почувствовав пленителей, Киприан поднялся с лежанки, возжёт лампаду, другую, третью, покуда келья его, в которую он перебрался после того, как отдал поместье под монастырь, не осветилась ярко. Келья была совсем крохотная и располагалась на верхнем этаже. Прежде тут хранился домашний скарб: отрезки льняной ткани, щётки с мётлами, треснувшие амфоры, пришедшая в негодность мебель, из которой он оставил только колченогий стол да узкую лежанку с обломанной спинкой. Когда солдаты вошли в его келью, Киприан уже стоял одетым, держа котомку со сменным бельём, сандалиями и мелом для чистки зубов, — только за плечи закинуть. Жизнерадостный центурион с косым шрамом через лицо от челюсти до уха, завидев такую готовность и смирение, широко улыбнулся и намеренно церемонно склонился в поклоне, пропуская епископа к выходу.

Спускаясь по ступеням к выходу, он сквозь шарканье солдатских ног, скрежет доспехов и оружия слышал, как ведут по коридору Иустину. Различил лёгкий её шаг и, кажется, даже ровное дыхание. Настоятельница не страшилась солдат. Не упрасивала о пощаде или снисхождении. Шла молча, почти торжественно, как если бы поспешала на утреннюю службу во храм. Их взгляды встретились только в саду, куда в предрассветную молочную хмарь согнали всех шестерых насельниц вместе с престарелой матерью самого Киприана. Иустина смотрела то на несчастных сонных насельниц, то на епископа озабоченно. Не за себя печалилась. За них, ещё слишком слабых духом и верой. Во взгляде епископа чувствовала, напротив, опору, крепкую твердь, за которой ничего не боязно. Всё по силам. Ибо во взгляде его отражался Сам Христос в силе Своей.

— Кто из вас Иустина? — зычно гаркнул весёлый центурион, чья жена на прошлой неделе родила девочку, и тот наслаждался первыми днями отцовства.

— Я — Иустина, — проговорила настоятельница. — Остальные женщины — наши родственницы либо подруги. В доме этом совсем случайно.

— А ты здесь откуда? — спросил центурион с улыбкой. — Ведь дом принадлежит Киприану.

— Именно так, — вмешался в допрос Киприан. — Мы с сестрой пригласили родню на семейный ужин. Эти люди здесь ни при чём.

— Прекрасно! — Центурион возрадовался, что не придётся возиться со всей оравой. — В таком случае — следуйте за мной! Вы двое.

Темница городская высилась за стеной Тиберия, за величественными Херувимскими воротами, которые воздвиг здесь в ознаменование победы над Иудеей правитель Веспасиан. Звались они так из-за могучих бронзовых херувимов с распростёртыми крыльями, что венчали арку жёлтого туфа. Сын правителя Тит самолично низверг их с Иерусалимского храма и доставил в Антиохию в качестве военного трофея и знака римской власти над этой восточной провинцией. Полированная бронза на плечах, ликах и крыльях херувимов сверкала под рассветным солнцем сотнями бликов, горела жарко, слепила глаза, заставляя проходящих под ними прикрываться рукой от Божественного свечения. А ведь за двести с лишним лет никто их не чистил, не драил, как поступали ежегодно с бронзовыми статуями императоров, неизбежно покрывающимися патиной и окисью изумрудной. Когда Киприан с Иустиною ступили под сень врат, солнечные блики иерусалимских херувимов пришли в движение: танцевали, кружились и долго ещё провожали бестелесными своими касаниями, словно крыльями бронзовыми благословляли.

Народа в столь ранний час на улицах было негусто. Нищие да забулдыги ещё дремали на городских скамьях под сенью акаций, а кто и прямо на земле, в тени прохладных городских стен. Поскрипывали телеги крестьян, везущих через Восточные ворота свежий, утреннего сбора урожай. Скрипели засовами лавочки, волокли корзины с зеленью, фасолью, хрусткими огурчиками, крепенько сбитыми кочанами капусты. Вывешивали на крючья свой кровавый товар мясники. Глиняные лохани с речной водой полнились густосиними раками, сомами усатыми, угрями. Пахло дровами сухими. Дымком печным. Сладостью пекущихся ячменных лепёшек, пшеничных хлебов. Ещё одно светлое, без горестей утро даровал Господь граду сему. Настолько светлое, что двоих праведников, идущих по его мостовым в окружении солдатни, никто и не заметил. Каземат, восточной стеной прилепившийся вплотную к стене Селевка, а другой прилегающий к отвесному берегу реки, походил на мрачного циклопа, пришедшего на водошой. Тёмные его стены покрыты голубыми лишаями, ветром да дождями выщерблены, поросли камеломкой, диким плющом. Окна зарешечены прутами коваными, в мужицкий палец толщиной. Двери кедра ливанского с обеих сторон уголками, листами железными, запорами хитрыми оснащены. Их даже нескольким солдатам не под силу отворить. Лишь дежурный центурий со своим ключом, что приводил в действие сложную систему противовесов, цепей, блоков, мог поднять их, отворяя путь к заточению или свободе.

Когда Киприан с Иустиною вошли под своды тюрьмы, в ноздри им ударил острый запах человеческих испражнений, особенно сильный, почти сшибающий с ног после свежести чистого утра. Тюремная вонь имеет особое свойство. В неё незримо вплетаются запахи, на воле не слишком явственные, а потому здоровому человеческому естеству непривычные. Смерд тела, давно не знавшего воды. Грязной, не стиранной месяцами одежды. Расчёсанных до крови корост. Давленных клопов. Волос сальных. Но и это не самое отвратное. Тяжким, несмываемым мороком висел в темнице густой дух отчаяния. Каждым стоном, каждым звоном кандальным напоминающий о бренности земного бытия. И беспределности страданий людских.

По причине сословного и имущественного положения в цепи их заковывать не стали. Разместили в одной камере, доставляя известные неудобства обоим, с одной стороны, но и радость общения и поддержки взаимной — с другой. Каменный пол темницы устлан влажной, пропревшей соломой, на которой теперь им и спать, и молиться, и вообще — жить. В углу — глиняная осклизлая бадя отхожего места, каковую велено самим выплескивать в зловонный жёлоб, отводящий нечистоты в общую трубу канализации. Половинка зарешеченного окошка под самым потолком, что хоть немного сочилось светом, являла лучики солнца, свежесть небесной лазури. Вечером —

только масляная лампа в коридоре. Слабый огонёк трепетного пламени, столь схожий с уязвимостью человеческой жизни.

Первый день в тюрьме, неделя первая — самые тяжкие. Из-за вопросов безответных; волн отчаяния, накалывающих в душе одна за другой; неудобств всевозможного свойства; настойчивых насекомых; скудной еды, а также скудости воздуха и солнца, без неба над головой, а прежде всего — тяжкие несвободой. Со временем ко многому привыкаешь. И даже в зловонной, тесной обители находишь свои радости, обретаешь то, чего прежде не замечал, не помышлял о чём.

А христианину в тюрьма в радость! Уже на другой день связала Иустина из пучка сухих стеблей, что удалось ей с трудом отыскать в углу темницы, соломенный крест, которым и освятили каждую стену и друг друга да водрузили затем на восток. Молиться союзно и не переставали. И на другой день даже отслужили литургию, используя для причастия несколько сухих ячменных лепешек и полмиски разбавленного водою вина. Служба в темнице, как заметили оба впоследствии, оказалась и глубже, и сосредоточеннее, и проникновеннее, чем прежде. Чистыми ручьями лились слёзы из глаз молящихся — без всяких душевных усилий, единственно от произнесения давно знакомых и вроде бы привычных сердцу слов: “Дево, радуйся”, “Царствие Небесное”, “Отец Небесный”. И хотя небеса упрятаны были от взора их за могучими стенами, здесь, в тюремном мраке, чудились они ближе обычного, и сами они чувствовали себя словно на небесах, а не на соломе зловонной.

— В жизни своей никогда так хорошо не молился, — признался Киприан на пятый день заключения. — Стоило, значит, очутиться здесь, чтобы ощутить всю благодать Спасителя.

— Как угодно было Господу, так и сделалось, — отозвалась Иустина. — Да будет имя Господне благословенно!

В те дни оба часто и вдохновенно вспоминали праведного Иова Многострадального — патриарха из земли Уц, чья жизнь стала предметом спора Бога и Сатаны, где один утверждал торжество человеческой веры, а другой — торжество его плоти. “И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его береги”<sup>36</sup>. Всего, чем владел, чем дорожил в земной этой жизни, лишился Иов в одночасье: верблюжьих стад, конских табунов, детей с отпрысками их, шатров царских, а в довершение ко всему и мором был поражён. И с каждым новым лишением не роптал Иов, но всякий раз благодарил Господа. Благодарил и тогда, когда очутился один в пыли на обочине проезжей дороги. Счищал осколком глиняной чашки гной, сочащийся из язв, густо покрывавших тело. Сотрясался от лихорадки. Но благодарил вновь и вновь...

Стража, сплошь состоявшая из сирийцев, в деле своём казематном привыкшая ко всевозможным людским порокам, смотрела на христианского епископа и диаконису с интересом, слушала тихие их песнопения и псалмы, примечала смирение и открытость сердец. А те улыбались своим надсмотрщикам, каждым словом и взглядом давая им понять, что в деле их, с виду скверном, насильственном, нет никакой их вины, но лишь исполнение чужой воли, что самое главное — не черстветь сердцем, не допускать в него греха даже помыслом. И некоторые из стражей, а в скором времени и их командир с широким лицом, испещрённым оспинами, старались облегчить участь пленников: сухой соломы донести, хлеба да вина, да печёных бобов положить поболее, чистой воды налить, улыбнуться лишний раз, доброе слово произнести или поведать городские сплетни.

В прежние, тёмные времена своей жизни Киприан с лёгкостью обратился бы птицею, грызуном мелким. Ускользнул бы, вылетел из темницы в два счёта, Иустину с собой прихватив. Одного-единственного обращения к дьявольским силам достаточно было, чтобы обрели они свободу. Но одновременно с тем и вечную погибель. Темницу ещё более мрачную и суровую, нежели нынешнее их обиталище. Из неё уже не сбежать. Темница та — на веки вечные. И вот что поразительно. Заточение не только даровало Киприану свободу духа, приблизило к Господу настолько, что Тот, казалось, слышит



его сердцебиение, но освобождало и всех, кто был с Киприаном рядом. Иустину прежде всего. Тюремщиков во главе с их командиром. Заключённых, что не ведали причины распространяющейся по закоулкам казематов благодати, но чувствовали вдруг смягчение сердечное, душевный покой, умиротворение нрава, да такое, что самые тяжкие помыслы их, опасения, страх рассеивались, словно рассветный туман. Происходило и вовсе здесь немыслимое до того, как появились христианские сидельцы: с каждым днём всё ярче и ярче озарялась темница светом. Пропало невесте куда зловоние. Теперь тут пахло босвеллией. И от её аромата умчались прочь сонмы насекомых, обитавших на телах узников. Язвы их затянулись. На лицах впервые появились ещё не улыбки, всего лишь оттепель, за которой непременно последует и духовное озарение. Редкие инспекции от городских властей, что навещивались сюда без особой радости, но лишь по обязанности служебной, удивлялись свежести тюремного духа, сообщая в своих отчётах о значительном улучшении содержания муниципальных казематов.

Несколько месяцев не учиняли Иустине с Киприаном никаких разбирательств. Да и причины заключения официальным извещением не поясняли. А они и не требовали объяснений. Смиренно ждали. Наконец, начальник стражи доверительно сообщил, что, похоже, назавтра будут решать их дальнейшую судьбу. Принёс чистые рубахи, туники шерстяные, сандалии совсем новые, с кожаным скрипом, что на собственные деньги купил у еврея на агоре, дабы христиане шли на судилище не в тюремных обносках, но подобно свободным гражданам Антиохии; распорядился принести им несколько кувшинов тёплой воды, масла розового для очищения и умащения тел; гребни можжевеловые пахучие для волос. Предупредил: разбирательство вряд ли будет коротким. Так что он и лепёшек в холщовый мешочек им запас. Христиане не знали имени этого человека. Стражники звали его “командиром” или “начальником”. Потому молились теперь ещё и за “командира”.

В ночь перед судилищем молился Киприан особенно истово. Вплоть до рассвета стоял коленапреклонённо перед соломенным крестом до тех самых пор, пока не осветился тот пурпурным, словно кровь, светом. И дикая горлица в тот же миг вспорхнула на единственное оконце. Прокурлыкала приветственно. Чёрной бусинкой глаза внимательно глядела на Киприана.

— Боже, Всемогущий Родителю Христа и Творче мира, и Ты, Христе, Создателю человека, которого Ты любишь и которому не даёшь погибнуть! — молил епископ, кланяясь и горлице, и кресту в багрянце. — Вот пред Тобою Киприан, которого, осквернённого ядом змеиным, Ты, Всеблагий, по милости Твоей очистил от многообразных злодейств и повелеваешь уже быть Твоим, Киприан — новый вместо прежнего, и не виновный, не злодей, каким был прежде. Если Ты очистил Твоею благодатью скверное моё сердце, то посети теперь и сию мрачную темницу, рассеяв мрак: исторгни из темницы тела и уз мира сию душу, да будет мне дано пролить кровь и быть закланым для Тебя; пусть снисхождение не овладеет свирепым судиею, пусть злоба тирана не знает пощады, пусть не отнимают славу. Даруй также, дабы никто из Твоего стада, которым я управлял, не оказался слабым, дабы никто из Твоих не пал под бременем казни и не поколебался; дабы я возвратил Тебе полное число находящихся в стаде и уплатил долг.

Форум разместился на пересечении главных городских улиц, одна из которых вела от Восточных ворот, другая — от врат Херувимских, а третья уходила к императорскому дворцу. Против триумфальной арки на устремлённой ввысь фиванской колонне — бронзовая фигура великого понтифика и императора Тиберия, стройного и поджарого. Старые мозаики из разноцветной морской гальки под ногами — у арки. Стража из преторианцев в начищенной до рыбьего блеска чешуе доспехов, в бронзовых италийских шлемах с гребнями винного цвета, с лицами, обветренными в походах, безучастными, суровыми. Да только и они провожали христиан глазами, в которых читалось сочувствие и удивление.

То ли по причине воскресного дня, то ли из-за жары или вовсе по причине отсутствия интереса к христианским судилищам со стороны простого люда народа на форуме собралось немного. Клариссим со своей многочисленной

свитой: приживалами, подавальщицами, советниками, учёточками, евнухами, охраной и даже несколькими наложницами подросткового возраста. Несколько почётных граждан преклонных лет, коих по причине старческого маразма и потери политической ориентации только и звали, что на Олимпийские ристалища да на судилища христиан. С десятков членов городского совета, которые не успели уехать в свои загородные имения и теперь были обречены скучать на нудных судебных разбирательствах. Само собой, квесторы, претор, магистраты, в чьи прямые обязанности, собственно, и входили сегодняшние слушания. Обликом более похожий на мясника из соседней лавки, облокотился на походную столешницу *спекулятор*<sup>37</sup>. Лицо его было сокрыто под бронзовым шлемом. Но глаза просверливали каждого из входящих, измеряя их тела на свой манер истязателя: по весу, длине рук и шеи, ширине щиколоток и запястий. Тут же, на столешнице, и всевозможный инструмент для пыток расположился в безупречном солдатском порядке: заточенные до бритвенного звона ножи различной длины и ширины лезвий, кнуты сыромятной кожи со свинцовыми бусинами о концах, крюки для раздиранья члестей и выламывания рёбер, целый арсенал дубовых клиньев, какие обычно забивают под ногти да такой же арсенал клещей, чтобы кромсать ими суставы и кости. Один вид этих приспособлений для истязания человеческой плоти, как правило, приводил преступную душу в трепет. Иные и сознание теряли. И сознавались во всём.

Коварство судилища заключалось ещё и в том, чтобы допрашивать подозреваемых, а если потребуется, то и истязать их на глазах ближайшей родни. Потому-то на отдельной скамье, ближайшей к палачу, разместили Клеодонию со служанкою Ашпет и епископову мать, что ещё недавно была безумной, а ныне неотрывно взирала на сына воспалёнными от слёз глазами.

От триумфальной арки до перистилиума, ограниченного со всех сторон колоннами, шли Киприан с Иустиною в окружении солдат, под любопытными взглядами свободных горожан, почти до бронзовой фигуры Тихе Антиохийской, охраняющей покой и мирную жизнь обывателя. Лёгкий ветерок носил по мостовым лепестки увядших роз, возложенных Тихе на прошлой неделе. Назойливо пели мухи, привлечённые потом разгорячённой толпы.

Клариссим тем временем обсуждал с претором, сухоньким старичком с отвислой кожей на руках и на шее, остроумие императора Траяна, который на этом же самом месте повелел казнить пятерых христианок, а прах их смешать с бронзой и отлить пять статуй, и по сей день стоящих в общественных термах в десяти минутах ходьбы отсюда.

— Ты сам посмотри. Ведь Траян де факто стал богом! — восхищённо восклицал клариссим. — Помнишь, что ответили эти женщины, когда император спросил о надежде, которая поддерживает их в минуту смерти?

— Как не помнить, — отвечал старец. — Они ответили, что воскреснут к новой жизни в новых телах! Вот ведь глупость какая!

— Стало быть, Траян исполнил их просьбу! И даровал их праху вечную жизнь в бронзе! — хлопнул ладонью по ляжке клариссим, заливаясь заразительным громким смехом. Ему, коротко повизгивая, вторил претор. Глядя на них, улыбались и остальные. И даже чугунные губищи спекулятора изобразили некое подобие улыбки.

Христиан между тем подвели к магистратам. Минуту назад солнце ещё только вздымалось над форумом, пряталось за зданиями и колоннами. Но вот взошло, позлатив и христиан, и солдат, и столбы пыли из-под их царственным каким-то свечением.

— Как зовут вас? — спросил претор, соблюдая обычай римского права. — Назовите ваши имена.

— Я — христианин, — молвил Киприан.

— А я — христианка, — вторила вслед Иустина.

Старец поморщился. Но тут же расплылся в улыбке, обнажившей его жёлтые редкие зубы.

— Это имя не принесёт вам ни малейшей пользы. Назовите имена, данные от матерей ваших.

— Говорю тебе вновь: мы христиане. А имена при помазании нашем Иустина и Киприан.

— Да кто не знает ваших имён?! — вступился тут же клариссим. — Известные фамилии. Почтенные отцы ваши прославили великую Антиохию благими деяниями своими. Стоит ли осквернять их героическую память? Так не поступают благодарные дочери и сыновья. Скажу вам совершенно искренне. Мы могли бы прямо сейчас закончить это разбирательство в вашу пользу. В конце концов, все люди ошибаются. Особенно по молодости лет. Забудем все ваши прегрешения. И разойдёмся по своим делам. Смотрите, какой чудесный день! Стоит ли его омрачать? Верно говорю, граждане антиохийцы?

Слова клариссима отозвались одобрительным гулом толпы и даже жидкими аплодисментами.

— Чего хотите от нас? — спросил Киприан, сердцем предчувствуя, что запрошенное окажется неисполнимым.

— Послушай меня. Сущий пустяк. Принесите жертву богам, если хотите быть почтены от государей и стать нашими друзьями. Отстав от неистовых безбожных мыслей, которые вас обманывают и могут более повредить, нежели принести вам пользу, — закатывая то и дело глаза, продолжил претор, — пожелайте быть послушны нашим увещательным словам, приступить к богам и принести жертву, почтить самодержцев и насладиться всякими их дарами.

— Радость великую и полезную, — ответствовала Иустина, — стяжала я в душе своей, которой ни ты, судия, ни цари твои стяжать не могут.

— И мы стяжали страх богов, — спокойным тоном проговорил клариссим.

— Ваш суетный страх принесёт вам свой плод, — обратилась к нему Иустина. — Ибо знайте, что, в страхе чествуя своих демонов, вы вместе с ними будете преданы геенне вечной.

— Не нуждаюсь в чести от государей и нимало не домогаюсь от тебя каких-либо даров, — проговорил епископ вслед за ней. — Я презрел своё немалое состояние, чтобы служить во Христе живому Богу. Я чту Бога отцов моих не кровию жертвенною, поелику в жертвах такого рода не нуждается Бог, но чистым сердцем.

Клариссим вздохнул устало. Не пристало ему день воскресный тратить на пустые увещания. А возможно, и проливать кровь пусть и заблуждающихся, но всё же людей. Однако оковы закона и вправду крепче кандалов. Придётся подчиниться, если судья настаивать будет. А он таков, старый хрыч! Вновь попытался воззвать к пониманию Киприана:

— Оставь безрассудство, послушайся меня, как отца: товарищи твои, не хотевшие отстать от своего безумия, ничего этим не выиграли. Если же ты почтёшь государей и принесёшь жертву отцам людей — богам, то удостоишься милостей.

— Справедливо вы называете ваших богов своими отцами, — ответил епископ. — Имея отцом своим Сатану, вы — его дети и стали дьяволами; вы творите дела Сатаны.

— Пустая затея, — прошелестел одними губами на ухо клариссима претор. Запах гнилых зубов и разлагающейся в желудке пищи ударил тяжёлой волной в светлейшие ноздри. — Эти не отступятся.

Затем одним повелительным жестом правой высохшей кисти о трёх перстнях, увенчанных крупными изумрудами и рубином, подал повелевающий знак спекулятору. Тот кивнул, обозначая готовность к исполнению. Но не спешил. Взял со столешницы сперва стальной крюк, от одного вида которого у наблюдавших за ним по спине пробежал зимний холодок. В сторону отложил. Поднял клещи тяжёлые, на губах заострённые, бурые от крови. Щёлкнул несколько раз звонко, так что у слабых сердце кольнуло. И их отложил. Из кувшина с солёной водой вынул несколько ивовых веток. Нежных да гибких. Приблизился к Иустине и с размаха хлестанул по лицу. Ни малейшего звука из её груди не послышалось. Только свист солёной розги. Но вздрагивала от каждого удара всем телом, словно секли её и не по лицу, а по всему телу. Вслед за первым ударом рухнул на колени и епископ.

Словно ивовым прутом ноги отсекло. А сёк палач умело. Размашистым крестом по лицу — справа налево и слева направо. Хлётко, вкладывая в каждый удар всю свою силушку в четыре с лишком таланта весом. Кровью залилось лицо праведницы. Через несколько мгновений кровь уже стекала струйками по шее, по груди, впитываясь в хлопковую ткань рубахи. Но улыбка не сходила с её рассечённых губ. Не в силах смотреть, как лицо дочери превращается в кровоточащее месиво, Клеодония зажмурила глаза, бессильно отвалилась в объятия служанки, беззвучно молилась. По чёрному лицу Ашпет тоже текли горячие слёзы. И её светлое сердце возносило мольбы к Божьей Матери, которая точно так же в бессилии смотрела на истязания своего Сына. А теперь вот и дочери. Исхлестав лицо Иустины, палач обернулся к публике, картинно поклонился, а затем столь же вызывающе вывалил изо рта толстый язык и облизал им окровавленные розги. И улыбнулся невинно.

Киприан тем временем всё стоял на коленях, опустив голову долу. Вздрагивая каждый раз от ивового посвиста. Ощущая лицом, каждой клеточкой тела брызги праведной крови.

— Стойко ожидал я Господа, — шептал епископ, — и Он внял мне и услышал мольбу мою<sup>38</sup>.

Кровью Иустины, самым её телом творилась мученическая евхаристия, коей он был пока что свидетель, однако с минуты на минуту прольёт и собственную кровь, уподобившись пусть не в полной, вселенской мере, но хотя бы отчасти крестным страданиям Христа.

Как и всякому человеку, ему было страшно. Страшно, что не стерпит боли. Жутко, что терзаемая плоть в какое-то мгновение возопиет настолько истошно, что заглушит голос души, дрогнет. Что Спаситель по грехам его прошлым, злодейским, не примет сей искупительной мученической жертвы. Оставит. Ибо упование на Него в ожидании плотских страданий не есть ли следствие страха? Как уповает дитя на отца своего, мчится в его объятия, спасаясь от стаи бродячих псов, так и он надеется на Спасителя, опасаясь быть разодранным гонителями веры. *“Вот, Бог мой — спаситель мой Господь, буду уповать на Него и спасён буду в Нём, и не усташусь; ибо слава моя и хвала моя — Господь, и стал Он мне спасением”*<sup>39</sup>, — проплыло в голове. И страх отступил разом. Киприан выпрямился. Взглянул на Иустину. Сквозь исхлётанное, ярко-окровавленное лицо, на отёкших, рассечённых до самого мяса губах проступала слабая улыбка.

— Ты же, Господи, — защитник мой, — прошептала одним лишь горлом, — слава моя и Тот, кто возвышает голову мою<sup>40</sup>.

В то же мгновение епископ почувствовал, как руки его, закованные в кандалы, взметнулись ввысь. Хрустнули суставы. Вздёрнулись сухожилия. Кости треснули. Спекулятор подтягивал его всё выше, перехватив цепи толстой пенькой, переброшенной через балку. Кандалы врезались в запястья, сдирая с них кожу, плюющая мышцы и пальцы рук. Киприан уже не видел перед собой ни Иустины, ни судей, ни палача. Но только надменное лицо Аполлона на мозаичной фреске напротив. Промычи он сейчас о поклонении пёстрым камешкам языческого божества, всё прекратится сей же миг. А тот словно и ждёт согласного животного мычания. Глядит в глаза Киприану с усмешкой. *“Смирись, человек! — говорит его взгляд. — Отступись”*.

Вздохнула толпа, словно волна прибой. И тут же правую голень будто кипятком крутым обожгло. И снова. И снова. С каждым разом вздохи толпы становились всё глубже, тише. Покуда не замерли в звенящей тиши. Только тучи мух жужжали и вились вокруг епископа. Садились на лицо. Заползали в уши, ноздри. Шевелились на губах. Вскоре он уже почти не чувствовал боли. В ушах нарастал тонкий посвист. На глаза напозлал сперва совсем лёгкий, а затем заметно густеющий туман. Через миг сознание оставило Киприана.

Очнулся он сразу же, как только палач выплеснул ему на лицо кувшин воды, в котором отмачивал розги. Еще несколько мгновений епископ глядел в глубокое небо, по которому носились неутомонные стрижи, а чистая лазурь переполняла его от горизонта до горизонта. Икры и голени обеих ног жарило

нестерпимо. Мухи по-прежнему кружили над ним. Гудели сыто. Киприан приподнялся немного и с удивлением заметил возле себя несколько кусков свежего мяса, нарезанного ровными, тонкими пластинами. И, не успев понять их происхождения, обронил взгляд на собственные окровавленные ноги, с которых палач заточенным ножом с аккуратностью мясника в лавке отсёк пласты его плоти. Мухи облепили кровоточащую плоть. Лишь на мгновение ему вновь стало худо. Но душа вскоре очнулась от мук нестерпимых, которые, на удивление, оказались куда терпимее, чем он ожидал, и устремилась в дали горние, человеческому оку не зримые. Продолжал Киприан молитву, и когда спекулятор поднял его на ноги, однако ноги с вырезанными мышцами не держали, так что палачу вновь пришлось подвесить его за наручники. Но и тогда епископ, прикрыв глаза, по которым нещадно струились со лба капли терпкого пота, продолжал взывать ко Христу. Молитва плыла в нём без всяких усилий. Освежая сердце и душу чистыми потоками благодати, чистыми потоками омывая, так что душа словно купалась в небесной лазури, в чистоте и совершенной детской беззаботности, в которой сочетается бесконечность грядущей жизни, безусловная родительская любовь и безотчётное счастье. Блаженная улыбка осветила лицо Киприана. Улыбалась и Иустина.

Улыбки окровавленных, истерзанных людей точно кипятком ошпарили душу светлейшего. Вцепился пальцами в подлокотник до синевы. Лицом забагровел. Едва перевёл дух, чтобы не задохнуться от гнева. Не на них, несчастных. На себя самого. На судью этого немощного, на одичавшую от крови толпу, на весь свой род и империю величайшую, что ничего с верой этой поделать не может, но сама — рассыпается, разлагается на глазах. И вот — слабое, но преступное чувство овладевает светлейшим в это мгновение — чувство надежды. Надежды на то, что если христианский Бог действительно воскрес и существует, то, быть может, когда-нибудь Он помилует и клариссима, если тот прекратит прямо сейчас мучения праведников Его. Может, сами эти праведники и заступятся за него пред Спасителем, если в сердцах их столько любви и смирения.

— Разве ты не чувствуешь боли от пыток, несчастный, что не жалеешь ни самого себя, ни её и не хочешь оставить безумия, от которого тебе нет никакой пользы? — спросил тем временем судья.

— Наше безумие необходимо иметь всем живущим надеждою на Христа, а ваша тленная мудрость принесёт вечную смерть тем, кто имеет её, — отвечал епископ.

— Кто научил тебя такому безумию?

— То спасительное слово, которым мы живём и будем жить, имея на небесах, в Боге, надежду нашего воскресения.

— Довольно слов, — вмешался клариссим, решительно поднимаясь с кресла. — Разбирательство прекращено. Мы не станем более судить этих людей. Судьба их — не в нашей власти.

Толпа возмущённо фыркнула. Толпа не насытилась.

### **Кондак 13**

О предивный и преславный угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче всем к тебе прибегающим, прими от нас недостойных хвалебное пение сие, от недугов исцели, от враг видимых и невидимых заступи и вечного мучения избавитися нам Господа умоли, да с тобою воспоем: Аллилуиа.

## **26. Троице-Сергиева лавра. Декабрь 1995 года**

Рождественским постом по настоянию отца Антония отправился в Лавру. Да не электричкой московской, натоленной, а, как и положено было в стародавние времена богомольцам, пешим ходом. Утепился в пуховик китайский, ушанку армейскую натянул по самые уши, шарфом шерстяным, что, должно быть, носил ещё Лунатик, шею обмотал. Ботинки туристические на рифлёной подошве обул. Вышел затемно. Мимо Медвежьих озёр,

ныне скованных льдом, снегом голубым запорошенных, мимо Чкаловского аэродрома, где во времена студенческие поднимался в небо, а ныне слышал, как греют силовые установки тяжёлые транспортники, отправляющие будущее страны на кавказскую бойню, лесами, от мороза трескучими, шагать ему было без малого семьдесят вёрст. А это, если с останковцами, почти сутки ходьбы. Усталость свинцовая навалилась на Сашку к полудню, когда миновал Фрязино. Тут и трактир придорожный, на счастье. Пока протезы отстегнул и культи носком шерстяным размял, буфетчица конопатая, напомнившая ему Серафиму из Баграмского медсанбата, набуровила чаю с сахаром. Смотрела жалостливо то на ноги отстёгнутые, то на их обладателя да смахивала, отвернувшись, слезу. Может, вспомнила собственного бойца, что лежит с отрезанными ушами в моздокской грязи или гниет заживо в бамутском зиндане — месяц уже от него ни весточки. Отогрелся Сашка бабьими слезами, чайком крепким, заваренным инвалиду от души страдающей, и дальше пошёл. Долго шёл лесной просекой, натываясь иногда на оставленные бытовки строителей, порожние катушки кабеля, бетонные плиты. У одной из них, заметил, метнулась короткая тень. Следом другая. И вот уже обок просеки бегут следом не меньше пяти бродячих псов. Худые, голодные, злые. Глазом поворачивают. Поскуливают вожделенно. Соображают, должно быть, как им этого доходягу одинокого подрать. Сашка тем временем шагу прибавил. Собаки следом. Остановился. И те стоят. Осенил себя крестным знаменем. Прочитал сперва “Отче наш”, а потом уж и двадцать второй псалом, который, как известно, от всякого зла путника сберегает: “Аще бо и пойду посреде сени смертных, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста”. Громко читал. На весь лес. Чтоб не только пёсья стая, но и всякий злой дух услышал его. Внимательно слушали псы слова псалма. А как закончил чтение, развернулись всей стаей и двинулись прочь.

Вороны чёрные кружили над ним; совы в сумерках пугали пронзительным воем; люди мрачные, безголосые долго смотрели вслед, пускали в лицо горький дым, запах горелой водки, девки отвязные жались в кабацком душном морозе в ожиданье любви. Еле дошёл до рассвета. А там, в остеклении морозного утра, в кристаллах инея на электрических проводах, выстуженных столбах берёзового и елового дыма, вздымающегося над крышами деревенских домов, в сахарной изморози декабря сверкали золотом и сияли купоросовой синевой купола Лавры.

Под святыми воротами Предтеченской церкви, со стен которой взирал на него Преподобный Сергей, валил под своды паровозный пар от дыхания толп богомольцев и японских туристов. Одни пытались всего-то за час постичь и запечатлеть святыню русского Православия. Другие — постичь самих себя. Пусть и уйдёт на это целая жизнь. Сашка колдыбал между ними замерзшей, снегом заметенной мостовой, по которой входили в Лавру и праведники, и грешники, и цари, и царевницы. Встать бы теперь на колени. Да ползти, ползти что есть сил к серебряной раке с мощами преподобного Сергия. Припасть. И молиться, исповедуясь всероссийскому молитвеннику в помыслах своих грешных, видениях бесовских, убийствах и гордыне безмерной, что и по сей день нет-нет, да и вопьётся осколком ледяным, колким в сердце. Он уж было и опускаться начал на мостовую, оползая, да дядька незнакомый, дюжий да бородатый, крепко пропахший с головы до ног злым табачищем, подхватил его под руки, поднял, потащил за собой следом. И не к златоглавому Троицкому храму, а куда-то в сторону, где перед одноэтажной, простецкой вагонкой обшитой хибаркой уже клубилась паром и молитвой людская очередь. Одни окоченевшими пальцами сжимали раскрытые тексты акафистов и карманных Евангелий, что стали понемногу появляться в церковных лавках. Другие, прикрыв глаза, уходили в молитву внутреннюю, постороннему уху, кроме Божественного, не слышную. Третьи стояли точно в очереди к сельпо, гомонливо обсуждая то немощь правителя России, то задержку зарплат, а то и страдания британской принцессы, которую несчастный русский народ отчего-то держал за свою. “Стой здесь”, — велел прокуренный властно и тут же растворился в толпе щёлкающих затворами

“мыльниц” азиатов. Хорошо: ни в какой мороз у инвалида ноги не мёрзнут. Можно в ботиночках на картонной подошве хоть весь день простоять. Железо, правда, стынет нещадно. Студит культу даже в шерстяном носке грубой вязки. За час, что очередь немного приблизилась к дверям хибарки, из разговоров, вздохов, слёз и молитв уяснил Сашка, что очередь эта не простая. Выстроилась она к почтенному старцу, каковых в России, почитай, уж и не осталось. И этот — один из них. Великий духовник. Прозорливец, наставляющий душу самую пропащую на путь истинный. Время от времени из дверей кельи выходил молодой монашек в чёрной скуфье, в ладной рясе до пят, подпоясанный кожаным пояском с молитвой “Живый в помощи Вышняго”. Совсем ещё юноша, с пушком рыжим по розовым от мороза щёчкам, монашек этот и пропускал страждущих к старцу. Кого поодиночке. Кого целыми семьями. Вываливался обратно народ по большей части обескураженный. Словно охолонули его посреди рождественского морозца ушатом ледяной воды. Иные, заметил Сашка, слёзы отирают. Иные лицами горят, будто открылась вдруг страшная их вина, каковую скрывали даже от родни, да вот не укрыли. Были и те, что пуще снега утреннего светились, отражая и взглядами, и лицами, и улыбкой чистую, какую-то неземную радость.

Дошла очередь и до Сашки.

Ступил размашисто, по-солдатски за порог. И чуть было не рухнул. Уж больно крошечная, скромная да подслеповатая была келья. А человек, что сидел на лавке за простым, некрашеным берёзовым столом, прозрачен. Именно прозрачен, поскольку ни возраст, ни морщины, ни ряса его монашеская не могли сокрыть той внутренней непорочности и целомудрия, что исходили от его лица. Сединою, подобной пуху лебяжьему, укрыт. Лицом средоточен. Смотрит в самую глубь. И улыбается. Сердце Сашкино при виде лучезарного старца затрепетало. Смиренно голову склонил.

— Смотри-ко, — молвил радушно старец, обращаясь к чернецу, что стражем стоял у двери, — какой герой к нам пришёл! А чего без “Звезды”?

— Неловко как-то, — пожал плечами Сашка и потупился.

— Это верно, — согласился старец, — наши звёзды повыше твоей будут. Не всякий герой до них дотянется. Тем более такой инвалид, как ты.

Обидно Сашке слышать такое, пусть и от праведника. Кровь вскипает от таких слов. Сознание мутится. Но терпит. Глядит в пол на паутину древесных колец.

— Да ты не обижайся, — утешает старец, — ведь я не про ноги твои говорю. Без ног-то даже сподручнее. Инвалидность твоя в ином. С ногами-то и смирение, похоже, отчекрыжили? Неужто не замечал? Думал, можешь нечистую силу так вот просто извести? Жечь её напалмом молитвенным, тротилом молитвы Иисусовой? Думал, выучил правильные слова — и изничтожена бесовская рать? Какой наивный воин! Неужели не заметил, что обошёл тебя враг человеческий, окружил, полонил? И затащила тебя в полон собственная гордыня. Как там в Писании говорится. “Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”. Это ведь про тебя, солдат, сказано! А всё потому, что ты творил ты по собственной, а не по Божьей воле. Уяснил наконец? Даже в помыслах с дьяволом не беседей. Преподобный Исаак Сирин ещё говорил: “Если ты не покорись своего ума Богу, то обязательно покорись его супротивному, то есть дьяволу”. Как покорить ум Богу? Иметь имя Божие, памятование о Боге в своём уме, и тогда не будет собеседования с дьяволом, потому что праздный ум всегда ищет дьявола. Ешь, пьешь, идешь, разговариваешь, занимаешься какой-то работой — в уме держи, как древние отцы, Иисусову молитву.

Всё вдруг чудесным образом встало на свои места. И сонмы бесов. И Ангелочек. И Лиля. И этот седовласый старец в простой домотканой рясе. И премыслительная рука Господа в образе прокуренного мужичка, что привела его сегодня к этой келье. И многочисленные молитвы, каковые хоть и с Именем Божьим оглашены, да без всяческого Его участия. Далёк был

Господь от этих сражений. И, значит, побеждал в них Супостат. И это на его стороне все эти годы бился солдат.

— Что же мне делать, отче? — осведомился Сашка через несколько тягостных мгновений, когда в келье вдруг стало совсем тихо, и, казалось, даже ходики часов на стене примолкли, и снег за окном замер.

— Воевать, — улыбнулся старец, — воевать, как и прежде, только с помощью Божьей, становясь не исполнителем собственной воли, но оружием Его, Царицы Небесной и Святого Духа. Словом, становиться воином Христовым. Вот как брат наш — Андрей!

И указал на чернеца, несущего стражу у входа в келью.

— Монахом?! — чуть не вскрикнул Сашка, представляя, что это означает раз и навсегда изменить всю свою жизнь. Да что там жизнь! Без всякого сожаления отрезать прошлое. Смириться с будущим. И посвятить себя вечному. Странное дело, хоть и прозвучало предложение старика совсем неожиданно, хоть и оборвалось что-то внутри, но страха и ужаса перед будущим он не почувствовал. Больше того, монашеский путь, путь Христова воина показался ему уместным продолжением прошлой жизни, а снискание духовных побед на этом пути ничем не менее захватывающим и важным не только для жизни земной — для жизни вечной! Словно дождь июньский тёплый пролился вдруг на Сашку. И свежестью, солнечным светом, переплетённым с духом разнотравья, оваян. Слёзы чистые потекли из его глаз. И он отчего-то совсем не стыдился своих слёз, как если бы не старец сидел перед ним, а полковник, собственный его отец, воскресший чудесным образом из цинкового своего небытия.

— Отец Небесный снова с тобой, сынок, — радостно кивнул старец, — иди же и воюй. Он тебя теперь не оставит.

Сей же час благословил отправляться в самое сердце поморской тайги, где на берегу речки Пинеги возрождалась из руин запустения Веркольская обитель.

До позднего вечера переходил Сашка из храма в храм, от одной иконы к другой в неустанной молитве, обращённой и к святым угодникам, и к апостолам Христовым, Всецарице, Спасителю. Ожидая от них хоть какого-то подтверждения старческого благословения, но явного — не находя. Слёзно плавились свечи перед величественными средневековыми иконами. Огонёк лампад в тяжёлом цветном стекле, окованном в бронзу, ровным светом выхватывал из зимнего полумрака их совершенные образы, заглядывающие в самое сердце, в самый затаённый уголок человеческой души, находя в нём лишь смирение и покорность. Уже потемну, по завершении братского вечера, добрался, наконец, к раке преподобного Сергия. Под покровом серебряным, тяжким, под лампадами искусными, каковые во искупление грехов своих жертвовали этому бедному праведнику правители России, склонился он благоговейно над гробом. Но лишь коснулся губами образа его, как вспыхнула рака сотнями цветных огоньков. Заискрилась в бликах серебра. Сладостная благодать наполнила и губы, и рот, и лёгкие, и всё его существо — блаженной негой, зефиром небесным, какого в обычной жизни и не сыскать, и не насытиться. Но лишь в такие редкие мгновения, когда Господь совсем рядом. На расстоянии одного поцелуя.

Воротился в Болшево с последней электричкой и впервые спал сном младенца, охраняемый, видать, и старческим заветом, и любовью преподобного Сергия. Но едва забрезжил в щели горизонта тусклый рассвет, принялся за сборы в путь дальний и, быть может, последний. Армейский сидор, в котором во время войны умещались помимо смены белья ещё и несколько “цинков” и кроссовки китайские, а при желании влезал и барашек, теперь схоронил в своём чреве молитвослов с потёртой кожаной обложкой и жёлтыми от тысяч прикосновений страницами, уместил столь же затёртый помянник с именами мёртвых и живых сродников и друзей, Евангелие в зелёном дерматиновом переплёте с отцовской книжной полки — самое первое его Евангелие, складенек с ликами Спасителя и Владимирской Богоматери, две смены белья, шерстяные носки на культы, поскольку без таковых в северных поморских лесах не намолишься, документы кое-какие: паспорт там, военный



билет. “Звезду” героя, орденские книжки, дипломы и всё прочее, в будущей его жизни не значимое, аккуратно сложил в жестяную коробку из-под датского печенья и припрятал под половицей на втором этаже. Форму парадную и полевую так и оставил на плечиках в платяном шкафу. С лёгкой грустью в последний раз провёл рукой по гладкой шерсти мундира, ощущая каждую ворсинку, каждый шов. И захлопнул дверцу без всякого сожаления. Остатки продуктов: крупу, макароны, миску варёной картохи, скукоженную морковь вынес к кормушке на прокорм страждущим в зимнюю пору синичкам да сойкам. К обеду сборы были закончены. Посидел ещё немного в иофановском кресле, с удивлением осматривая опустевшую, тронутую первым тленом запустения дачу. Решительно поднялся. Забросил за плечи мешок. Перекрестился троекратно. И вышел во двор. Уже у калитки заметил в щелях жестяного почтового ящика бледный отсвет письма. Поначалу даже не хотел к нему прикасаться, оставляя позади себя всё суетное и мирское, однако подумал вдруг, что это не зря. Что это знак, на который он должен ответить. Вынул письмо. Прочёл адрес и поспешно сунул письмо во внутренний карман куртки.

От Ярославского вокзала следовало ему теперь добираться почти сутки до города Архангелов. Оттуда вновь поездом, но уже не столичным, провинциальным составом Северной железной дороги, не меньше шести часов до крохотной станции из силикатного кирпичика. А затем автобусом до умирающей русской деревни на берегу северной реки, через которую по зимнику пешком уж совсем близко. Тут и обитель будет.

В вагоне общем, прокуренном, провонявшем немывтым человеческим телом, бабьими месячными, жареной курицей, какой торгуют в привокзальных киосках татары, тепличным огурцом с солью, влажным постельным бельём, ехать по России и тепло, и уютно. Чай в стальных подстанниках с эмблемой железных дорог СССР — крутой кипяток. Жёлтое колесико лимона парит в нём терпкой кислоткой, духом южным. А за окном-то всё неприбранная, расхристанная Родина. Чернёное серебро заборов. Мшистый шифер жилищ, утыканный ржавыми телевизионными антеннами. Иной раз и шлакоблочные бараки о двух этажах с собственными палисадами, что украшают посёлки городского типа. Школы сельские, задыхающиеся без ребятни. Зато шинкарни да сельпо, до верхов заваленные спиртом “рояль”, жвачкой, сладким “марсом”, чуть не круглые сутки торгуют своей отравой. Ладно бы просто травили. А то ведь ещё и дурят доверчивый наш народ, обзывая свои заведения на иноземный лад красивыми, как им кажется, в отличие от русских, именами: “Санта-Барбара”, “Парадиз”, “Фудстор”. Недоумевает народ. Переиначивает на свой манер такое заведение “Паразитом”, но всё одно упрямо прётся, несёт капиталистическому паразиту последние копейки в обмен на дешёвую водку и резину с сахаром. Само собой, и кладбища русские от жизни такой ширятся, расплозятся по роцицам берёзовым, по лескам, а уж возле больших городов и вовсе измеряются десятками гектаров. Ложится народ в могилы безропотно. Кто по немощи и болезням, которые из-за фашистского истребления уездной и сельской медицины множатся повсеместно. Другие — в результате пьяных дебошей, какие у нас и прежде, конечно, бывали, однако нынче от праздности, безработицы, отчаянного понимания, что нет никакого будущего ни для себя, ни для детей, оборачиваются бедствием воистину национальным. Душегубствует русский народ почём зря без всяческой жалости. Но всё это только там, где теплится ещё хоть какая-то жизнь. Только вот жизни этой сквозь пыльное окно вагона дальнего следования чем дальше от столицы, тем меньше. Русский лес вырублен нещадно, а тот, что остался, завален валежинами, сухостоем, короедом истреблён; поля без хозяйского досмотра одичавшие, утыканные сухими дудками борщевика; реки стоками да пестицидами вытравленные чуть не от самого устья. Это и есть Россия. Несчастливая, бесхозная страна.

И чем дальше на север уносил его столичный поезд, чем ниже опускалось свинцовое, грузное небо, чем темнее и шире становились крестьянские избы, тем горше печалилось Сашкино сердце. Это сколько же иноков, чернецов, старцев требуется России, чтобы отомолить, наполнить любовью, радостью, светом нашу страну! Сколько молитв неусыпных прочесть, чтобы

снизошла на неё Божья благодать, а народ её зажил в мире и согласии, да не только сам с собой, но и с остальными племенами- народами, донося им благую весть, добрый нрав, щедрость душевную и нравственный пример. Целой жизни многих поколений русских людей и то не хватит! Молимся, плачем, грешим и молимся вновь. Сколько веков! И всё без толку! А может, не страну, а собственную душу спасать-то нужно? Может, если больше будет таких спасённых душ, и страна другой станет? И жизнь — иной?

Обитель древняя лежала в руинах. Замело её по самые стрехи метелями. Крыши, где крыши эти ещё сохранились, снегом прижало, а то и вовсе порушило, обнажая гнилушки стропил. Жестянка, не единожды крашенная, да не латаная, ржавая, гнулась, гундела на порывистом ветру тоскливо, жалостно. Но вот же слышно среди этого уныния и мёрзлой тоски: позванивает серебром колокольчик. И на крыше храма совсем свежая, видно, нынешней весной крытая жесть. А от проруби возле берега до руин тропка вьётся, по которой грачом угольным семенит чернец. Теплится жизнь, вьётся молитвенная тропинка и из этой едва живой православной обители.

Первые насельники поселились на месте обретения мощей убитого молнией отрока Артемия, пролежавших нетленными без малого тридцать лет, ещё в семнадцатом веке. С тех пор монастырь то и дело сгорал дотла. Нищад. Лишался братии. Но неизменно по Божественному соизволению и молитвам отрока возрождался вновь, обретая и монахов, и деньги, и даже монаршее призрение. Революционная власть каких монахов разогнала, каких прямо на берегу речки постреляла, колокола сняла да по оплошности потопила, книги с иконами жгла несколько дней. Организовала в месте благостном, райском поначалу тракторную мастерскую, а впоследствии и интернат для умалишённых детишек, что глядели, должно быть, на останки иконостаса церковного, на фрески величавые и улыбались от неведомого им, запретного ныне счастья.

Отец-настоятель, дядька, судя по физиономии его, добродушный, костью широкий, домовитый, мохнатый какой-то, с мочалом потных соломенных волос, выбивающихся из-под скуфейки, и в душегрейке поверх подрясника, размашисто и хрястко колот дрова перед домишком красного кирпича, украшенным табличкой с горделивой надписью: “Братский корпус”. Из трубы ровным током струился берёзовый дым. Печь работала исправно. Прислонив к колоде колун, отец-настоятель внимательно изучал старческое поручительство, улыбался добродушно в соломенную же бородину лопатой. Весело поглядывал на трудника. Щурил глаз. Оценивал его пока что только вприкидку, потому как человеку слабому, хилому да душой немощному в здешних условиях и недели не протянуть.

— Служивый?! — уточнил для порядка отец-настоятель.

— Так точно, — отрапортовал как положено Сашка. — Подполковник.

— Это хорошо, товарищ подполковник, — кивнул в ответ, — нам тут вояки нужны. А то ведь пока вчетвером бьёмся. Помощники только летом приезжают. Мало нас. Хозяйство, сам видишь, большое. Жизни не хватит его поднять.

Смиренный и молчаливый монашек с чудным именем Феликс, что исполнял тут, за неимением многой братии, обязанности казначея и эконома, отвёл Сашку в дальнюю келью братского общежития, где, помимо солдатской койки с панцирной сеткой, тумбочки — тоже, видать, из ближней воинской части — да советского стула с драным дерматиновым сидалищем, не было ничего. То есть вообще ничего. Одни лишь стены, даже и не крашенные, местами и не оштукатуренные, с красным, дореволюционным ещё кирпичом. Да впопыхах замазанная охрой лет тридцать назад половая доска. Картонная иконка с образом Спасителя над койкой. Полый цоколь под потолком. Феликс, впрочем, вскоре вернулся с упаковкой стеариновых свечей, наказав палить их расчётливо. Да растолковав коротко монастырский устав, схожий с солдатским своею определённою и расписанием для всякого дела.

Братское повечерье, что служили теперь уже впятером в единственном на весь порушенный монастырь Никольском приделе Артемиевского храма,

по причине ранних северных сумерек, отсутствия электричества, разрухи и запустения являло собой нечто первозданное, подлинное в христианском естестве. Именно так, должно быть, молились в своих пещерах первые христиане. Так делили меж друг друга хлеб, вино, свечной свет, но прежде, конечно, слова, рвущиеся смиренно из пяти мужских глоток, знавших прежде и бранное слово, и водку, и злой табак, но теперь вдруг очистившихся, хвалящих Господа всяк на свой лад разными голосами. Фелике, Серафим, Варнава да отец-настоятель. Вот и всё войско Христово в здешних местах. В телогрейках арестантских поверх ряс. В скуфейках на вате. В валенках с калошами. Только пар изо ртов валит. Да светятся тихим лампадным светом лики угодников Божьих, Николая Чудотворца, Спаса Нерукотворного с Владимирской Божьей Матерью. И в алтаре теплятся несколько свечей на престоле. Возвращались с повечерья в келью простуженной тёмной стайкой, вышагивающей по снежной тропке под тяжкими взглядами осквернённых, истерзанных храмов, под пустыми глазницами трапезной, отверстиями, будто рот покойника, вратами Успенского собора. С надеждой трепетной и слабой всё это когда-нибудь восстановить, поднять, освятить. И водрузить над обителью, в который уж раз, победный крест Православия.

В новом своём жилище Сашка долго сидел в крошечной тьме, слушая, как бьёт поклоны перед образами Серафим. Как уробно гудят и урчат трубы системы парового отопления, за которой нынешней ночью следит Варнава. Звонко светил месяц новорождённый. И вдруг будто грузная тень проскользнула от собора к реке. Скрипнул под шагами снег за окном. Рухнули с неба в таёжную глухомань четыре звезды одна за другой. Сашка зажгёт свечу. Вынул из кармана куртки сложенный конверт. И в последний раз прикоснулся к жизни земной. *“Милый друг, — говорила ему оттуда Лиля, — мой Ангелочек погиб. Я узнала об этом только на прошлой неделе. А до того один за другим отошли в мир иной мои старики. И жизнь мирская, жизнь в грехе потеряла всяческий смысл. Что бы там ни говорили, она погибла из-за меня. Всякое ведовство — от лукавого. И обращено прежде всего на наших близких. Их жизни — плата за дешёвые чудеса. А ещё собственная душа, которую, даст Бог, мне удастся сберечь для жизни вечной. По благословению духовника своего отправляюсь на послушание в монастырь. Может, сподоблюсь когда благодати принять иноческий постриг и остаться там навсегда. Этой же благодати я и тебе желаю, милый мой друг. Храни тебя Господь и Царица Небесная!”*

Скомкав письмо, он поднёс его к пламени и осветил ярким всполохом женских чувств убогую свою келью. Опустился на колени. И, глядя в глаза Христу на картонке, сам залился слезами.

## 27. Никомедия<sup>41</sup>. В год консульства императора Диоклегиана IX и императора Максимиана VIII (304 год)

Долгий и изнурительный путь до столицы Вифинии славного града Никомедии преодолевали несколько дней: усталым цугом, во главе которого верхом на кургузой смиренной лошадке каурого окраса ехал тот самый весёлый центурион с косым шрамом, что арестовывал давеча Иустину с Киприаном. Следом на открытой повозке, запряжённой парой волов, четверо солдат со всем провиантом, документами, оружием и исподним в мешках плотной холстины, а уж за ними крытая такой же грубой холстиной повозка с осуждёнными христианами, коей правил пожилой возница в широкой соломенной шляпе; замыкал процессию ещё один солдат на исхудалом понуром муле. Звали его Феоктист.

Пыльными просёлочными дорогами, иной раз и по выжженным солнцем степям, через быстрые горные речки и ручейки с детскими голосами, через рощи реликтовых кипарисов и ухоженные посадки плодоносящих олив двигались они всё дальше на север. Часто ночевали прямо в поле или в лесу, поставив животных и повозки кругом, разводили в центре костёр. Пекли на стальных листах душистые лепёшки. Пили вино. Смеялись над

простодушными солдатскими небылицами про ратные подвиги в Паннонии, Галлии и Пальмире, про тамошних женщин любвеобильных, про трусливых и жадных мужчин.

Ещё в антиохийской темнице раны мучеников начали заживать, а в пути Иустина не забывала обрабатывать их чистой водой да смазывать горьким молоком одуванчиков или самодельными мазями, которые готовила из оливкового масла, сухих лепестков ноготка, листьев подорожника, соцветий пижмы. Шрамы на невинном лице её усохли, покрылись коростами, которые скоро и вовсе отвалились, оставляя после себя розовые крестообразные следы. А вот ноги епископа долго не заживали. Отверстие раны много дней сочилось сукровицей, а позже лимфой. Некоторые по краям нагноились, так что Иустине пришлось вскрывать нарывы. Промывать раны от гноя кипяченой водой. Густо засыпать растёртым в порошок ладаном, замазывать диким мёдом, который помогали собрать из дупел сопровождавшие их солдаты. Со временем и эти страшные раны начали затягиваться. Епископ, однако, все ещё плохо ходил. Опирался на кипарисовый посох, который вырезал ему сердобольный Феоктист. Посох был крепкий. С удобной уключиной под мышкой. Витиеватым, ошкуренным стволом. Резным христианским крестом. Тот же Феоктист, в безделии влачащийся следом за их повозкой на меланхоличном муле, вырезал и крест настоящий, церковный, хотя и не ведал, конечно же, каким он быть должен, однако чудом каким-то и пониманием красоты мира сего вдохновлённый, изваял ножиком солдатским истинное диво. С виноградными лозами и плодами по всем его перекладинам, с короной царскою поверх креста, с затейливыми узорами и орнаментами восточных провинций. Такой крест и для молитвы в Божьем храме — великая радость. Повозку же утлую арестантскую, разохшуюся и несмазанную, превращал он в лучший храм на земле.

Здесь они молились. Причащали друг друга. Исповедовались. Под глубокой сенью бархатного неба с россыпью крупных звёзд и звенящим серпом юной луны или в рассветном багрянце нового утра, стоя на коленях в старой повозке перед водружённым в ней крестом, — это ли не величайшей из литургий! Никогда прежде не испытывали они подобного счастья, такой отеческой близости к Господу. Слышали Его голос. Чувствовали биение Его сердца. Тепло Его рук. И медовую, нектарную какую-то благодать, что сладким маревом растеклась в душе. Даже солдаты, кажется, обоняли чудотворный аромат Божественной благодати. Глядели с нескрываемым интересом на молящихся. Улыбались без всяких причин. Даже центурион попросил Киприана помолиться за его новорождённую дочь, которая чахла от необъяснимой болезни.

Феоктист так и вовсе рассказал арестантам, что уже и в римской армии христиан немало, они, мол, есть даже в лейб-гвардии императора, однако, опасаясь быть преданными суду за измену воинской присяге, покуда явственно об этом не заявляют. И исповедуют веру свою тайно. Тем более что времена-то стали совсем тяжкие. Не иначе приметя за христиан императорская власть.

Слухи и разговоры об этом давно блуждали по империи. Император Диоклетиан совместно с цезарем и соправителем Галерием Максимианом<sup>42</sup> вроде бы как раз по причине всё возрастающего влияния новой веры на основы государственной власти и армии озадачились тем, чтобы веру эту искоренить. Правящий в Никомедии Галерий, согласно сложному династическому узору, не только исполнял обязанности цезаря Востока, но совмещал их с положением усыновленного отпрыска Диоклетиана и мужа его дочери Валерии. Вот именно он попал под влияние Вифинского наместника Гиерокла, убеждённого неоплатоника и борца с новой верой, известного не только публицистическим своим даром, выразившимся в двухтомном сочинении “Правдолюбивое слово. К христианам”, но и изуверским характером, изобретающим всё новые кары и муки для последователей Христа. На исходе прошлого года то ли по божественному волеизъявлению, то ли по договорённости со святейшими авгурами на торжественном жертвоприношении в присутствии императора и его цезаря предсказания на печени закланного быка попросту не

прочлись. По обоюдному мнению предсказателей, произошло это из-за того, что кто-то из присутствующих перекрестился. То же самое произошло и в Милете, куда хворый Диоклетиан приехал к оракулу Аполлона. Странная ведь история. Никто и предположить не мог, что император так ревностно ввяжется в это дело. Внук раба, простой человек, понимающий не только чаяния народа, но и нужды империи. Объединивший её в доминат. Да не придворными интригами, а на войне с многочисленными узурпаторами и завистливыми варварскими племенами, отгрызающими кусок за куском, территорию за территорией. Такого правителя давно ожидала распадающаяся империя, лелея воспоминания о прежнем величии и надежду на возрождение. Но, что самое удивительное, не токмо что дальнее окружение Диоклетиана симпатизировало христианам, но люди из ближнего круга. Его супруга Прииска крестилась с именем Александры, крестилась и дочь Валерия, впоследствии ставшая женой его цезаря Галерия. Да и самый большой в Никомедии христианский храм по настоянию городских властей воздвигли прямо напротив императорского дворца. И вдруг — эти бессмысленные репрессии. Кровавые и беспощадные.

Ещё до ареста оплакивали Киприан и Иустина и вся паства их мученическую кончину двадцати тысяч никомедийских христиан, собравшихся в храме на праздник Рождества. После того как глашатай императорский с амвона зачитал указ собравшимся выйти из храма и принести жертвы языческие, никто не вышел. И тогда храм подожгли. А пока подвозили к стенам бревна да бочки со смолой, епископ никомедийский Анфим, тот самый, что рукоположил в сан и самого Киприана, причащал и крестил оглашенных. Всех успел причастить. Все они и сгорели. Трупы обуглившись, кого опознали, родственники предали земле, остальных захоронили в общей могиле на городском кладбище. Храм порушили и, как оно обычно бывает, вывезли камни его за пределы города на постройку загородной резиденции одного из столичных чиновников, отвечавшего тут за нравственность.

Епископ Анфим провидением Божиим в огнище том уцелел. Некоторое время скрывался на попечении паствы в бедных окрестностях столицы, но всё одно был найден и доставлен к цезарю. И усечён мечом. Из уст в уста передавались последние слова епископа никомедийского, произнесённые им перед казнью. “Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня орудиями казни? — спросил святитель. — Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа! Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего”.

Помнили слова сии и Киприан с Иустиной, чья повозка неспешно и неуклонно двигалась в столицу имперского богоборчества.

Царственная Никомедия встретила их весенним благоуханием. Розовой пеной цвели вишни, миндаль, абрикосы. Крепкий бриз от изумрудных волн Пропонтиды врывается в город и шляется, бродил по его улочкам и площадям подобно неприкаянному шалопаю, свежестью своей юношеской радужа измождённых жарой горожан. Яркие соцветия журавельника в горшках под окнами. Клетки с певчими птицами: щеглами да скворцами луговыми. Затворённые ставни лавок. Разноцветное тряпье, развешанное на верёвках для просушки. Маревое полуденного душного сна встретило арестантов и стражников в этих Афинах Вифинии, как называли её услужливо при дворе. Минули и форум перед императорским дворцом, за которым виднелся дворец Приски, аккуратный, мозаичный, яркий, словно игрушка. И амфитеатр, возвышающийся по склону холма над дворцами. И форум, и дворец окружают заросли цветущего мирта, лавров, магнолий и кипарисов, чьи смолистые и сладкие ароматы насыщают дворцовую атмосферу благородством и особенной царственной статью. Мраморные статуи олимпийских божеств, как и повсюду в империи, обнажены, бесстыдны, вызывающи. Тут они совсем новые, белоснежные, без единого пятнышка или порчи. Видно, скульптор высек их из мраморных глыб недавно, не больше года назад.

В этот суботный полдень горожане уже отобедали — кто заветренным кусочком сыра с ячменной лепёшкой и плоской тушёных бобов, а кто и паровой скумбрией под лимонной шубой — и теперь отдыхали, отдаваясь

прохладной неге пропахшего солью и водорослями морского бриза. На улицах лишь несколько таких же приезжих на повозках да припозднившиеся за дружеской трапезой чиновники в богатых одеяниях, да согбенный старец с узловатыми венами на ногах, страдающий от суставных и мозговых болей, да стайка детишек на углу, крутящих волчок на время.

Темница, в которую доставили антиохийских арестантов, располагалась неподалёку от императорского дворца и, как выяснилось по прибытии, оказалась забита заключёнными под завязку.

— Что же вы их всё везёте и везёте? — раздраженно взывал дежурный офицер, получая бумаги из рук весёлого центуриона, который не чаял сдать узников под чужую ответственность и поскорее отправиться в обратный путь к жене и болящей дочери. — И ладно бы злодеев каких-то! А то иноверцев... А с душегубами мне что делать прикажете? Нет, забирайте свои бумаги обратно. Этих людей я не приму. Мне к вечеру разбойников привезут. Десять человек. На улице их оставлять? Простите. Заночуйте где-нибудь. Вам ведь только ночь переждать. А завтра всё решится. С христианами теперь разбираются быстро.

Пришлось располагаться табором возле тюрьмы.

Вечером опечаленный центурион вместе с подчинёнными и арестантами завалился в портовую попину, где собиралась, как и во всяком прибрежном городе, всякая шваль: пираты, проститутки, контрабандисты, беглые каторжники, авантюристы в поисках лёгкой наживы, армянские и персидские лазутчики под видом торговцев, спившиеся драматурги и солдаты.

В кабаке уже душно и кисло от нескольких десятков размлевших и не всегда безупречно чистых человеческих тел. От жара раскалённых докрасна углей на кухне и вовсе не продохнуть. Запах жареной баранины, откормленных цыплят, тучной морской рыбы голубым дымком струится под потолок, вызывая у оголодавшего гражданина течение слюны, желудочное нетерпение. Вино в глиняных кувшинах с испариной уже на столе. Глубокая миска с тушёными бобами, от души приправленными чабрецом и перцем. Тарелка с овечьим и козьем сыром, на редкость свежим, должно быть только нынешним утром купленным у лавочника. Миска мелких оливок, нерасквасившихся, твёрдых, духовитых. Кружок луканской колбасы, начинённой бараньим салом, рубленой печёнкой, свиным огузком. Даже в холодном виде она хороша, а уж если поджарить немного на решётке да в скворчащей сковородке подать к столу, то и вовсе объедение. Хлеб из полбы, хоть и не царской природы, хрусток корочкой, ароматен в теплоте своей, а с сыром да кружком обжигающей колбасы — совсем отдельный, особый деликатес. А ещё бараний бок в подпалённых иголочках розмарина, набитый требухой томлёной и салом курдючным, что сочится по бороде, по рукам жёлтой смолой. Епископ с диаконисой, к удивлению сотрапезников, чревоугодия сторонились. Прочли, склонив головы, благодарственные молитвы, съели по кусочку хлеба и по ломтику сыра. Выпили кружку вина, щедро разбавленного водой.

— Может, уже завтрашним утром решится судьба ваша, — недоумённо расспрашивал арестантов Феокист, — неужели не хотите хотя бы напоследок кусить земных радостей?

— А разве в этом радость? — спрашивал в ответ Киприан. — “Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего”<sup>43</sup>. Неужели ты думаешь, Феокист, что возможно променять на что-то со стола сего будущий пир, что готовит для нас Господь?

— Хотел бы и я хотя бы одним глазком взглянуть на тот пир, — вздохнул Феокист.

— Завтра же будешь восседать с нами на нём, — пообещал Киприан.

— Как бы вам, златоустам, и самим не оказаться на том пиру угощением, — прервал их весёлый центурион, опрокинув кубок вина. — Видел я, передавая бумаги ваши по назначению, что на форуме выволокли чаны на десять куллев<sup>44</sup> каждый. Варить вас будут, горемыки. Не иначе.

Мелкий озноб промчался по всему телу Иустины. Киприан почувствовал это прикосновением плеча. Мученица молчала.

— За всё благодарите, — молвил епископ смиренно, — ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе<sup>45</sup>.

Кабачкий люд тем временем, вина поднабравшись и желудочную истому утолив, говорил всё громче, шуток скабрезных да взглядов откровенных, да шлепков по различным частям тела не стеснялся вовсе. Иные и вовсе распустились, обнажая отвислые перси и мохнатые груди. Иные пустились в пляс. Тут же нашлись тамбурины и авлос. Заплясали и девки бесстыдные, размалёванные, чьи груди тряслись в такт барабанному бою, чьи голые бедра заманивали в свой бесовской круг всё новых и новых юношей, мужчин и даже нескольких старцев. Сам дьявол, кажется, вертелся посреди этого человеческого хоровода. Верещал. Вопил. Куражился. Облачённый в пышное разноцветное тряпье, с распущенными рыжими космами до поясицы, с губами, окрашенными соком шелковицы да подведенными малахитовой пылью глазами, бросился вдруг к столу, где сидели Киприан с Иустиной. Зашёлся в безудержном смехе. Приблизился вплотную, так что было слышно, как воныет серой из его пасти. И произнёс громогласно: “Взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера...”

...Всю-то последнюю ночь земной их жизни провели Киприан с Иустиной в долгой, непрекращающейся молитве. Антрацитовый бархат небосклона исполнился бессчётной россыпью звёзд. Присмотреться, так некоторые переливаются персиковыми цветами. Иные морскими. Но больше всего — серебряных, совсем далёких. Возможно, и там сейчас происходит такая же жизнь. Точно так же лают сонные псы. Горят масляные лампы на окнах. И двое праведников молятся тому же Богу. Но вот сорвалась звезда. Распукая серебряный хвост, промчалась дугой через всё небо. И растаяла в пучине. Исчезла со всеми своими собаками, светильниками и праведниками. Оставляя после себя одного лишь Господа, который всему Создатель: и звёздам этим бесчисленным, и мирозданию сему, и псам, и даже тонкокрылому ночному мотыльку, что ползёт теперь по руке епископа и доживёт, быть может, только до будущей зари, но, пока жив, каждым дыханием и самим существованием своим славит Господа во всём величии Его и неизъяснимости.

В предвкушении скорого рассвета принялись исповедоваться друг другу. В последний раз. Иустине исповедаться было легко. До судного дня сохранила она себя в чистоте и непорочности, которые настолько глубоко проникли в душу её, утвердились в её сознании, что всё иное — дурное и мерзкое — чуралось её, обходило стороной опасно. Но и она покаялась епископу, что не смогла толком попрощаться с матерью и прислугой, сестёр монастырских не успела благословить на подвиг христианский, и как они там теперь без пастырского её участия — неизвестно. Болит душа за них. Да и за всех, кого оставляет на грешной этой земле.

Киприану исповедаться было сложнее. Вспомнил он вдруг на радость души давно позабытый, в детстве совершённый грех, день первого своего жертвоприношения, когда под водительством верховного понтифика Луция Красса лишил жизни невинного агнца. Понял ужасающий смысл этой жертвы, в которой запечатлелся и корень всех последующих его пороков, падения его, но и воскресения. Убивая агнца, он убивал в себе Христа. Но и зарезанный, распятый им собственноручно, Христос не оставил его, претерпел все глумления, обиды, предательства. Поднял с колен. Вознёс. И по сей час держит за руку. Стоит позади тылом. Прикрывает щитом веры. И хотя во всю короткую жизнь праведника каялся Киприан неустанно и непрерывно за жизнь свою грешную, её истоки вспомнились только в канун казни. И был в этом какой-то особый потаённый смысл, та самая последняя черта, перейдя которую в чистоте духовной, уходишь в жизнь вечную налегке. Без тяжкого груза нераскаянных грехов и ошибок.

Литургию служили в девственно розовом мареве утра. Слово негача неисчислимого сонма розовых лепестков накрыла их своей нежностью, и повозку, возле которой они коленапреклонённо стояли, и улицу у подножия тюремных стен, и тюрьму, и саму Никомедию. И рукотворный кипарисовый крест, пред которым стояли.

— О Владыко, Вседержителю Господи! — вознеся руки к кресту, читал Киприан молитву приветствия. — Призри с небесе на Церковь Твою, на весь народ Твой, и на всю паству Твою. Спаси всех нас, недостойных рабов Твоих, овец стада Твоего. Даруй нам Твой мир, Твою помощь и Твою любовь и пошли нам дар Святаго Твоего Духа, да с чистым сердцем и благой совестью приветствуем друг друга священным лобзанием, без лицемерия и вражды, но в простоте души и чистоте, во едином духе, в союзе мира и любви, в едином теле и духе, в единой вере взывая, в единой надежде нашего призвания, да соединимся в божественной и безмерной любви во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси.

Полбяная лепёшка вчерашняя — заветренная и подсохшая, остатки вина кабацкого — совсем дешёвого, разбавленного водой, накидка бедная, потрёпанная, под солнцем выцветшая — ныне словно плат — вот они, Тайны Святые, над которыми стоял теперь епископ, крестил звёздно в ожидании сошествия на них Святого Духа.

— Воистину небо и земля полны славы Твоея через явление Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, — взывал к Господу Киприан. — Исполни, Боже, жертву сию благословением Твоим чрез наитие Твоего всесвятаяго Духа.

Яко Сам Господь, Бог наш и Царь всех Иисус Христос на вечери в ночь, в нюже предал Себя за грехи наши и умер плотию за всех, взял хлеб во Свои святые, пречистые и непорочные руки, возвёл очи ко Отцу Своему, Богу нашему и Богу всяческих, возблагодарил, благословил, освятил и преломил хлеб, подал его святым Своим, и блаженным ученикам, и апостолам, возгласив... — Тут литургический чин требовал от него возгласения, но горло перехватило душно, и слёзы полились из его глаз в понимании, что это последняя его земная литургия.

— Примите, ядите, — проговорил Киприан. Перекрестился. Указуя на лепёшку, произнёс: — Сие есть Тело Мое, еже за вас ломимое и разделяемое во оставление грехов.

— Аминь, — эхом отозвалась Иустина.

— Тем же образом после вечери, — продолжал епископ, — Господь принял чашу вина, смешанного с водою, возвёл очи Свои к Тебе, Отцу Своему, Богу нашему и Богу всяческих, благодарил, благословил и исполнил чашу Духа Святаго, подал ю святым Своим и блаженным апостолам, рек: пийте от нея вси! — Указуя на чашу глиняную с вином, воскликнул: — Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вас и за многих изливаемая и раздаваемая во оставление грехов.

И лишь только молвила следом за епископом диакониса: “Аминь”, явил себя и Сам Господь. Всполохом взошедшего над холмами солнца, тонкой струной полоснул по земле, крохотным солнечным зайчиком остановился на Чаше и Хлебе, наполняя их Благодатью Святого Духа, той самой неизъяснимой, умом не ведомой Божественной силой, что не то чтобы праведников, но самых последних грешников на этой земле возносит в горние выси, уподобляет даже не праведникам, но Самому Христу, вновь и вновь даруя нам надежду на спасение. Маревое тёплое, духовитое поднялось над Хлебом и Чашей. Вознеслось к лицам, к губам молящихся, причащая их незримо. Наполняя их естество, как и во всякую литургию, радостью единения с Господом. Но ныне Он не только пребывал внутри, но словно стоял рядом. Причащался. Вместе с праведниками своими готовился вновь взойти на Голгофу. Оба чувствовали Его. Его простоту. Смирение. Силу. Но более — любовь! Такую безотчётную и всепоглощающую, что сравниться с ней под силу было только Вселенной. Космос любви! Исчезнуть в нём даже малой звёздочкой — нестрашно. Но, наоборот, величайшая радость: светить и сгорать, наполняя собственным светом и собственной любовью бескрайнюю Вселенную Христовой любви.

Вот и причастились Телом и Кровью Господа, которые по сошествию Духа Святого сделались тёплыми и сладкими, с радостью сердечной. Слёзы высохли. Лица осветили улыбки. Сладкие ароматы кассии источали их тела и дыхание. Миром драгоценным благоухали кожа и волосы.



— Христос с нами! — радостно воскликнул Киприан, принимая в объятия Иустину.

— Во веки веков! — воссияла диакониса в ответ.

Тут уже и солдатня ото сна очнулась. Первым — Феоктист. Глядел дремотно из повозки на причащающихся. На необъяснимую их радость и улыбки, и всё не мог понять: как же так? Последние часы жизни отмеряет людям судьба, а они не скорбят, слёз не льют, судьбу и Бога своего не клянут. Неужто и правда в вере этой сокрыто нечто особенное, что дарует её последователям жизнь вечную? Лишает их страха перед смертью? Бывало, что и сам Феоктист в Галльскую кампанию, но особенно в ужасающей битве при Эмесе с войсками пальмирской царицы приносил жертвы богам, умолял их о спасении, но страх всё равно не покидал его сердца. Знобил спину. Наливал свинцом ноги. Клокотал в груди. Когда он с ужасом наблюдал, как рушатся рядом тела товарищей. Как кромсает плоть обоюдоострая сталь. Заливают лицо, руки, струятся по доспехам потоки человеческой крови. Однако страх заставлял его ещё точнее, ещё размашистее рубить направо и налево коротким мечом, доводить себя до состояния яростного иступления, в котором уже нет своих и чужих, добра и зла, победы и поражения, но только ужас, только кровавая мясорубка во спасение собственной жизни. Этот солдат слишком хорошо знал солоноватый вкус смерти, чтобы разуместь чистую радость христиан, встречавших её без ужаса, но с улыбками.

Улыбались они и всю дорогу до императорского форума, где уже выстроились несколько когорт преторианских гвардейцев в сверкающих сталью доспехах. Бурлила толпа. Ликующие патриоты, которых при любом сатрапе подавляющее большинство, в предвкушении скорой расправы над иноверцами. Стайки учащейся молодёжи, собранные тут в назидательных целях. Жрецы — для подтверждения права собственности на веру и её идолов. Сонм царедворцев от самого скромного чина до приближённых к императору и оттого особенно важных, кичащихся золотом и собственной значимостью. Естественно, палачи. Куда же без них в империи?! Драматурги с похмелья, стихоплёты и прочие интеллектуалы, изощрённые в продажности поболее портовых шлюх, которые продают своё тело, тогда как эти — душу в усладу толпе или императорскому синклиту. Гомон стоит над форумом. Толкуют о предсказанной жрецами плохой в ближайшие дни погоде. О сожжении и разрушении христианского храма, где погибло народу куда как больше, чем при сожжении Титом Храма Иерусалимского. О плохих уловах скумбрии. Ценах на баранину, что растут второй год подряд. По центру площади — дощатый помост с циклопическими воистину котлами, под которыми, видать, ещё с рассвета разведён огонь, поскольку содержимое уже парит, клокает жирно.

Десяток сигнальных рожков известил о появлении цезаря. Боевые штандарты замерли, будто перед сражением: золотые орлы, бахрома, пурпурный бархат, отверстия бронзовые длани, отчеканенный имперский профиль. Громыкнули доспехи солдатские. Живо заткнулся плебс, а вслед за ним и царедворцы притихли. Над форумом повисла торжественная тишина. Только бурлили котлы.

Гай Галерий Валерий Максимиан — цезарь, тетрарх, приёмный сын и зять великого объединителя империи Диоклетиана — вышел к народу в простой солдатской одежде, подчёркивая тем не только своё народное происхождение, но и намекая на возлюбленное дело своей жизни — войну. По молодости лет бывший пастухом, утверждавший, что мать произвела его на свет от соития с драконом, храбро бился он с сарматами, изничтожил полчища карпов и бастарнов, однако всенародно признанных побед добился в сражениях с персами. Даже триумфальную арку воздвигли в честь этих побед. Дворцовая жизнь со всеми её интригами, сплетнями и сферами влияния, свойственными тетрархии, тяготила цезаря. Поручаемые тестем церемониалы, разборательства, репрессии старался он исполнять по-солдатски чётко, быстро и без излишних рассуждений. Так и теперь, взглянув на двоих арестантов лишь мельком, подал знак к началу экзекуции едва заметным кивком коротко стриженной головы. Претор долго бубнил, зачитывая полный список

обвинений и оправданий христианам. Потел. Краем льняной тоги утирал складчатый лоб. Вздыхал от скукоты и многословия антиохийских чиновников, исписавших убористым почерком не меньше трёх *кубитусов*<sup>46</sup> превосходного египетского папируса. Всё это время цезарь не шелохнулся. Грубый профиль простолюдина, точно чеканка на медном фоллисе, — незыблем, строг. Взгляд устремлён в себя, потому, если и кипели в душе цезаря страсти и переживания, их было никак не разглядеть.

Закончив чтение, претор принялся сворачивать свиток. Затем произнёс:

— *Ad mortem te duci jussu consulis jam pridem oportebat, in te conferris pestem, quam tu in nos machinaris.* — Взглянул на цезаря, который по-прежнему думал о чём-то своём, царственном. И добавил: — *Hoc autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse*<sup>47</sup>.

Только теперь цезарь кивнул согласно. Устремил взгляд прямо в глаза Киприана и долго изучал его, словно пытаясь понять истоки внутренней его силы и убеждённости, каковые не может укротить не только смерть, что может быть принята им как благо, но даже близость мучений самых чудовищных. Но так и не смог понять.

— *Nunc te patria, qua e communis est parens omnium nostrum,* — заговорил цезарь мрачно и размеренно, будто отвечивал на весах каждое слово, — *odit ac metuit et jam diu nihil te judicat nisi de parricidio suo cogitare; huius tu neque auctoritatem verebere nec iudicium sequere nec vim pertimesces?*<sup>48</sup>

Теперь и Киприан взглянул в глаза цезаря. И вдруг посреди ночного в них мрака и гранитного стоицизма заметил едва различимое сияние. То свет любви пробивался сквозь его духовное затмение. Той самой любви, что воссияла яркой вспышкой в момент его зарождения, а затем постепенно, незримо истиралась, тускнела, хладела. С каждой загубленной жизнью. Лживым словом. Похотливым взглядом. С жертвой каждой на алтарь языческий. Покуда не превратилась в это едва различимое среди мрака сияние. Слабое, как свет безымянной звезды. Тихое, как жизнь светлячка. Но всё же живое! А коли так, то способное возродиться. Разгореться от животворного ветра Святого Духа. Воссиять неугасимым огнём. Мимолётная улыбка пробежала по устам епископа. Окрепла. И осветила благодное лицо.

— *Id opprimi sustentando aut prolatando nullo pacto potest; quacumque ratione placet, celeriter vobis vindicandum est*<sup>49</sup>, — заявил претор, давая понять, что слушания завершены и следует приступать к наказанию.

Дюжие спекуляторы в воловых фартуках, с мускулистыми ручищами, покрытыми дикой шерстью, с такой же шерстью на лицах с низкими лбами и ничего, кроме пустоты, не выражающими взглядами, под руки подняли мучеников на помост. Выстроились позади на случай, если потребуется их участие. У самых ног епископа и диаконы бурлил крутой кипяток. Обдавал их лица влагой раскалённой и каким-то еще невнятным, нездешним запахом, напоминающим дух разварной свинины. Только слаще. А тут и густая прядь человеческих волос поднялась со дна и вновь ушла в пучину бурлящую. Взглянул Киприан на солнце, на форум, набитый зеваками, на град сей, что неведомо и незримо купелью этой бурлящей превращался в крестильную купель рода человеческого, собирая из мучеников, отдавших жизни свои за Христа, рать Небесную, каковая стоит и стоять будет у Престола Его до окончания веков. Улыбнулся счастливо от одной лишь мысли, что уже ныне будет возле Спасителя. Перекрестился широко. И прыгнул в бурлящий котел. Вслед за ним точно с такими же мыслями и улыбкой бросилась Иустина.

Но вот ведь чудо из чудес! Крутой кипяток не обжёт епископа и диакона. Не сварил их заживо на возбуждение толпе. С виду отвратная и губительная кипень оказалась не горячей парного молока. Лишь на мгновение ушли под воду мученики. Но тут же всплыли. Встали во весь рост в кипящих котлах. Улыбались, глядя в небесную высь. Вновь крестились, благодаря Господа за чудо это, кроме как Божественным умыслом не объяснимое. Расточая вместе с клубами пара восхитительный аромат, в котором перемешались запахи нарда, кедровой смолы и можжевельника. Да и водица в котлах вдруг

очистилась. Зарокотала толпа. Выдохнула изумлённо. Жрецы языческие возроптали: что-то не так в котлах этих. Всякому известно: огонь и кипень губят плоть. Может, не слишком горячи? Или чары колдовские вмешались? Возшедшие вновь на помост Киприан с Иустиною даже опомниться не успели, как самый ярый из жрецов прорвался сквозь солдатские цепи и с криком: “Не посраим бога нашего Асклепия!” — бросился в чан с кипятком. Несколько коротких мгновений побарахтался в нём, взвыл по-звериному и тут же замолк. Вновь потянуло из котла сладким варевом.

Хоть и восхитился диву дивному вместе с толпой подданных цезарь, да только вида не подал, понимая, что каждое новое христианское чудо делает государственные гонения на иноверцев всё более нелепыми и бессмысленными.

Пройдёт каких-нибудь семь лет, и цезаря поразит редкостная даже и по тем временам злокачественная опухоль гениталий, что кровоточила, рубцевалась и вновь наливалась гноем. Ещё через год он издаст эдикт о веротерпимости, позволяющий христианам свободно исповедовать свою веру. Господь дарует ему после этого только пять дней, чтобы проститься с родными. И сгнить в мучениях страшных...

Одного лишь августейшего взгляда на палача с боевой *спатой*<sup>50</sup> на перевязи было достаточно, чтобы тот вышел из строя и вразвалочку, неспешно направился к новой дубовой колоде, специально изготовленной к сегодняшней казни.

Вот и пришёл смертный час мучеников Христовых.

За себя не страшились. Радовались скорой встрече с Создателем. Сердце епископа всё же щемило, но лишь потому, что от вида усечения его главы могло смутиться девичье сердце. Исполниться обычным человеческим состраданием и печалью. Нужно ли было это ей в канун свидания с Женихом своим наречённым? Вот и испросил цезаря и претора дать ему время на молитву последнюю.

Опустился коленями на тёплую мостовую. Рядом встала и Иустина. Волосы её душистые ниспадали из-под накидки тяжёлыми локонами на узкие плечи. Профиль точёный, трогательная родинка над губой, трепещущей в последней молитве. Очи, прикрытые в предчувствии нетварного света. Пальцы тонкие прижаты к груди. Никогда не знали они ни колец, ни украшений, дожидаясь единственного — обручального. Чудесное дитя, сохранившее свою чистоту до самой земной кончины лишь для того, чтобы сочетаться вечными узами в новой жизни. Аллилуйя тебе, светлая! Аллилуйя, чистая душа!

Бабочка-белянка опустилась ей на плечо, заворожённо качает крыльями, словно палевым опахалом с оранжевой каймой. Стая сахарных голубок куврыкается и кружится в бесконечной лазури над её головой. А может, и не голубки то, а ангелы уже ожидают, уже приветствуют светлую душу в сонме своём.

— *Господи Боже Вседержитель, —* принялся читать на родном языке последнюю свою молитву Киприан, — *возлюбленного и благословенного Отрока Твоего Иисуса Христа Отче, чрез Него же мы получили познание Тебя, Боже ангелов и сил, И всякой твари, и всякого рода праведных, которые живут пред Тобою, Благословляю Тебя, что Ты удостоил меня дня и часа сего воспринять часть в числе мучеников, в чаше Христа Твоего, для воскресения жизни вечной души же и тела, в нетлении Духа Святаго, в чём я да буду принят пред Тобою, сегодня в жертву обильную и благоприятную, как Ты преутоводал, и предвозвестил, и исполнил, неложный и истинный Бог. Сего ради и за всё Тебя хвалю, Тебя благословляю, Тебя славлю, чрез Вечного и пренебесного Первосвященника Иисуса Христа, возлюбленного Отрока Твоего, чрез Которого Тебе с Ним и с Духом Святым слава и ныне и в грядущие веки. Аминь.*

Поднялась покорно с колен, смиренно прошла к колоде Иустина. Каждый шаг мученицы отзывался в сердце Киприана. Склонённый в молитве, он не видел её, но слышал близящуюся расправу. Вот опустилась вновь на колени. Лён туники шепчет устало. Клонится на плаху покорно глава. Руки ложатся на грудь крестом. Звонкая тишина. Только баюкает где-то, гулит тихо горлица.

— *Господи, помилуй!* — произносит епископ вполголоса. Луч света касается лица Иустины и застывает на нём, преображая.

— *Господи, помилуй!* — повторяет она затем. И с тонким звоном выситя в небо тяжёлая спата.

*Господи, помилуй!* — И падает меч.

Рубит вязко. Хрустко. Рухнула и откатилась честная глава. Завалилось тело.

Истощный крик из солдатского строя рвёт кровавый морок. Давешний охранник Феоктист торопится к помосту. Падает на колени подле епископа. Целует длань.

— Верую, отче! — шепчет запальчиво. — Приими в лоно церкви Христовой!

Тот крестит его. Прижимает к груди. Молвит:

— Истинно говорю тебе. Нынче же предстанешь перед Спасителем.

Но уже подхватили. Волокут. Плаха залита кровью яркой. Тёплой. Он чувствует ее вязкость и теплоту коленями. Щечкой, укладывая голову на колоду. Ему вовсе не страшно. Он уже словно и не здесь. Но там, в горних далах, куда мчится теперь непорочная душа Иустины, где ожидает его теперь в объятия Христос. А оттого и всё, сейчас с ним происходящее, не страшнее любой иной человеческой кончины: в постели от немощи, в битве от вражьей стрелы, в морской пучине или от недуга тягостного. В старости или в юности — смерть вершина любой жизни, верхняя её нота, за которой — великая и земным умом не познанная вселенная жизни вечной, симфония бесконечности. Уходить одному в неведомые дали, конечно, боязно. Но когда тебя держит за руку Бог. Когда следуешь за Ним без боязни, но с верою, сам не заметишь, как обретёшь то самое, ради чего и живёт на свете всякое существо, — Царствие Небесное!

— *Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня*<sup>51</sup>, — не переставал Киприан вывать ко Спасителю.

Слыша, как, медленно пластая воздух, вздымается тяжкий меч. Как сверкает, звенит едва на ветру серебряным колокольцем заточенное острие. И со свистом пронзительным рушится вниз. Что-то хрустнуло в нём. Завертелась кубарем мостовая. Лица. Цезарь. Палач. Лазурь с голубыми. Солнечный всполох. И воздушные лики ангелов, спускающихся навстречу к нему с небес...

В зыбкую тьму погрузилась душа на мгновение. Но уже брезжит свет. Пока что слабый, как огонёк светлячка. Но вот всё шире и ярче. И лучше, чем прежде.

С лёгкостью необычайной, невесомостью плотской поднимался он над землёю, влекомый ангелами, всё выше и выше, видел и собственное обезглавленное тело, испытывая к нему не более чем лёгкое сожаление, и тело Иустины, что лежало немного поодаль, и стражника Феоктиста, коего укладывали теперь на плаху. И город, что всё время удалялся, мельчал улицами, площадями, скульптурами языческих божеств. И страну, что становилась не больше ладони. И чем дальше уносился он от земли, тем ближе и ярче становился свет, что исходил не от солнца, но отовсюду, наполняя собою весь тварный мир и всю душу его до самого потаённого, сокрытого уголка. Наполняя ещё и радостью неизъяснимой. Ликованием, сравнимым разве что с ликованием детской души, когда отец подбрасывал его к небу и вновь ловил надёжными и любящими руками. Свет этот чудный изливался на него в абсолютной, стерильной тиши. Но вот где-то далеко, однако с каждым мгновением всё ближе и явственнее слышался голос труб. Торжественный. Стройный. Каким встречают царей и праведников. Врата Небесные, что отворяются вдруг перед ним, сверкают кварцевой крошкой. Устремлены в бескрайнюю высь. Невесомы и легки, хотя, кажется, прикрывают собой целую вселенную. Возле врат — рать небесная. Херувимы да серафимы величественные в латах призрачных, сверкающих солнечным жаром, со знаменами и хоругвями в руках, с улыбками на устах, с молитвой в сердце. Страшно войти во врата эти, но ангелы влекут Киприанову душу всё дальше и дальше, всё выше к свету, что источает тот самый единственный источник правды и всего сущего — престол Небесного Царя...

Сапфирами лазоревыми и лимонными переливается Царский Престол. Скалой неприступной высится. Планетами послушными опоясан, что вращаются вокруг Престола неостановимо. Звёздной пылью мерцающей осыпан. Туманами галактическими укутан. Радугой нескончаемой окружён. По малахиту подножия резьба искусная, мозаика яшмовая, сложенная в слова: *Я есмь Альфа и Омега, начало и конец*<sup>52</sup>. Цветами неувядающими со всех концов земли украшен Престол. И цветник этот источает благоухания, каковых на земле не сыщешь, потому как там, на земле, эти цветы разделены, но здесь — собраны в единый букет. Птицы над теми цветами, и бабочки, и пчёлы, и мотыльки выются гурьбой, упиваясь неистощимым сладким нектаром. И семь лампад бронзовых — суть семь Духов Божьих, что следят неуслышно за грешниками и праведниками по всей земле.

У каждой из четырёх основ Престола — по одному стражу: Телец, Лев, Орел и Ангел. Всяк из них — шестикрыл. Всяк исполнен светлых очей. Медной поступи. Гласов грозных, воспевающих непрестанно: *“Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, и есть и грядёт”*<sup>53</sup>.

Двадцать четыре трона, по двенадцать с каждой из сторон Престола, высятся, и переливаются огнём, и сверкают смарагдом. На каждом из них — седовласые старцы в белых долгополых одеждах, со златыми венцами на главах. *“Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено”*<sup>54</sup>, — молвят старцы и падают ниц пред Сидящим. И возлагают с трепетом к ногам его златые свои венцы.

Лик и образ Сидящего — неизъяснимы. Сложны и непостижимы чувства при Его созерцании. Прежде всего — любовь. Настолько могучая и всепоглощающая, что сообразна свежему воздуху. Океану безбрежному, в чью негу погружаешься и напиваешься ею до самого донца. До удущья. До галоп сердечного. Но вместе с тем страх, граничащий с ужасом, от которого замирает оцепенело душа. И восторг неописуемый, детский. И трепет. Благоговение истинное, по сравнению с которым любое царское ли, имперское ли почитание — всего лишь бестолковая причуда. Близость кровная, по существу родство, поскольку вся твоя родня до самых первых колен, как и родня всего сущего на земле, — Его творение. И когда осознаешь это, проникнешься пониманием того, что не только повелители мира сего, не только каждый человек, но и каждая букашка, даже крохотный цветок камнеломки на руинах царских дворцов задуманы и созданы Им и живут и умирают под Его неусыпным досмотром, вот тогда-то и откроется вся Его Божественная природа. Воля Его. И непостижимость Его величия!

Стоя теперь пред Престолом Спасителя, Киприан чувствовал рядом с собой тепло иных душ, что прибывали к Нему и векоре исчезали бесследно, но иные продолжали стоять коленапреклонённо и молиться. Была среди них и Иустина — чище, прекраснее прежнего. Подобна ангелам и херувимам, её окружающим. Безбоязненно преклонила главу у самого основания Престола, возле медных ступней шестикрылого Льва. И светлый блик, словно отеческая рука, касался честной её главы.

*“И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю.*

*И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.*

*И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.*

*И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.*

*И я видел и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение.*

*И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава, и держава во веки веков.*

*И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков*<sup>755</sup>.

О, святой угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех к тебе прибегающих. Приими от нас недостойных хваление наше, и испроси нам у Господа Бога в немощех укрепление, в болезнях исцеление, в печалех утешение и всем вся полезная в жизни нашей. Вознеси ко Господу благомошную твою молитву, да оградит нас от падений греховных наших, да научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения дьявольскаго и всякаго действия духов нечистых, и избавит от обидящих нас. Буди нам крепкий поборник на все враги видимыя и невидимыя. Во искушениях подаждь нам терпение и в час кончины нашей яви нам заступление от истязателей на воздушных мытарствах наших. Да водимыя тобою достигнем Горняго Иерусалима и сподобимся в Небесном Царствии со всеми святыми славить и воспевати Пресвятое имя Отца и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

## 28. Веркола. Март 1995 года

Утро пострига плавилось по горизонту малиновым киселём, от которого руины монастырские темнели сначала зловеще, но через несколько минут тоже измазались киселём небесным, обрели сказочный вид. Осевший, в чёрных проталинах и оспинах снег; река под горой — в первых голубых польных; бурая зыбь тайги, что шевелится непрестанно ветвями старых деревьев, приветствуя ещё одно утро; сам воздух — терпкий от ранней сосновой почки, от речного дыхания, что нет-нет, да и вырывается из-под ледяного спуда — всё в мире уже дышало весной, жило ею, каждой минутой приближаясь к торжеству света, горнему царству. На старой берёзе возле Успенского собора, под которой, говорят, доблестные чекисты расстреляли нескольких монахов, усердно выют гнёзда грачи. Гомонят. Торопятся в ожидании скорого потомства. Играет талой водой овражек. Стынет в ночи, а с первым прикосновением солнышка тает, оживает опять радостной песней весны. Угнездившийся на тёплой кочке возле овражка кустик брусники уже освободился от снега, уже радуется глаз лаковым, густо-зелёным листом и прошлогодней терпкой ягодкой на стебельке. И голубая нетленная риза расстилается над землёй — покровом бесконечного прощения и любви.

До самого рассвета и глаз не сомкнул. А лишь сыпануло с берёзы в окошко капелью, зазвонил колокольчик, призывающий братию ко служению, тут только и осознал всем своим естеством: вот и пришёл этот день. Последний день мирской его жизни.

За зиму Артемиевскую церковь выстудило окончательно. Не согрело её ни робкое мартовское солнце, ни ежедневное тепло свечей и братских молитв, возносимых к Всевышнему даже в трескучую февральскую стужу. Солдатская буржуйка, что раскаляли в храме докрасна, и та отогревала скованную холодом кирпичную кладку лишь едва. Монахи мёрзли. Но молились ещё истовее и горячее, отчего и пар из глоток вдруг редел, и лица покрывались холодной испариной.

— Раздевайся, — велел Феликс, когда в завершение малого выхода игумен закончил читать Евангелие. — До рубахи.

Эту рубаху он сам выдал Сашке накануне. Рубаху, судя по всему, новую, кем-то ношенную, но теперь чисто выстиранную и выглаженную. Даже подумать о том, чтобы остаться в ней — зябко. А уж когда разделся да лёг по приказу Феликса на пол, ощущая всем телом вечную мерзлоту его камней, когда застучали вдруг зубы от судорожных сокращений всех мышц его организма, вот тогда и пронзила вдруг глупая и неуместная мысль: хорошо, что безногий, иначе бы совсем околел. Двое монахов, сам Феликс

и Серафим, крылами чёрными своих мантий прикрыли его и повелели ползти вперёд, на середину Никольского придела, и там распластаться крестом.

— Объятия Отча отверсти ми потщися, блудно бо мое иждих житие, на богатство неизживаемое взираяй щедрот Твоих Спасе, ныне обнищавшее мое да не презриши сердце, — гудел игумен тропарь. — Тебе бо Господи, во умилении зову: согреших, Отче, на небо и пред Тобою. Поспеши открыть передо мной объятия Отца, ибо я в блуде растратил свою жизнь, но ныне взираю на неоскудевающее богатство Твоих милостей. Не презирай мое обнищавшее сердце, ибо к Тебе с умилением взываю: согрешил я, Отче, пред небом и пред Тобою.

Это был трудный путь. Наверно, самый трудный за всю его предыдущую жизнь. Тяжелее, чем барханные и скалистые дороги далёкой южной страны, чем кровавый волок с оторванными ногами к вертушке, чем первые шаги по госпитальному коридору и даже парадного марша тягостнее. И вовсе не потому, что протезы его железные скрипели да цеплялись то и дело за грубый церковный камень, не оттого, что камень этот саднил кожу даже под рубахой и жёг нестерпимо каждую пору его тела. Распластанный и пригвождённый к земле, он, быть может, впервые смирился. Впервые являл себя Господу таким, какой есть: без звёзд, званий, подвигов земных — в одном исподнем. Поверженный, будто тот самый блудный сын, о котором гудел над ним отец-настоятель. Грешный. Кающийся. Казалось, доползёт к середине храма — в крови. А оказалось — в слезах.

— Бог мудрый, яко Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние, чадо, яко блуднаго сына приемлет тя кающагося и к Нему от сердца припадающаго, — молвил игумен, лёгким мановением руки повелевая ему подняться.

Оттого ли, что продрог до самых костей, от трепета ли душевного, тайного перерождения всей его сути дрожал Сашка перед игуменом мелкой дрожью. А тот будто не замечает. Смотрит на него снизу вверх испытующим взглядом, спрашивает:

— Что пришёл еси, брате, припадая ко святому жертвеннику, и ко святей дружине сей?

— Желая жития постническаго, честный отче, — отвечал, зная наперёд все ответы, но и понимая вместе с тем, что отвечает теперь не игумену мохнатому и не он спрашивает его, а Тот, Кто выше и этого игумена, и этого храма, и всех правителей мира сего от начала веков.

— Желаше ли сподобитися ангельскаго образа, и вчинену быти лику инокующих?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

— Вольным ли своим разумом и вольною ли своею волею приступавши ко Господу?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

— Не от некия ли нужды или насилия?

— Ни, честный отче.

— Пребудеши ли в монастыре и в постничестве, даже до последняго твоего издыхания?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

— Хранити ли себе самаго в девстве и целомудрии и благоговении?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

— Хранити ли даже до смерти послушание к настоятелю и ко всей о Христе братии?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

— Пребудеши ли до смерти в нестяжании и вольней Христа ради во общем житии сущей нищете, ничтоже себе самому стяжавая, или храня, разве яже на общую потребу, и се от послушания, а не от своего произволения?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

— Приемлеш ли вся иноческаго общежительнаго жития Уставы и правила святых отец составленная и от настоятеля тебе подаваемая?

— Ей, честный отче, приемлю и с любовию лобызая я.

— Претерпиши ли всякую тесноту и скорбь иноческого жития царствия ради Небесного?

— Ей, Богу содействующу, честный отче.

Всяким согласием, каждым словом содействующим он словно снимал с себя мысленно невидимые бинты, что опутывали его душу крепкими путами, высвобождая её поначалу мало-помалу, а затем всё свободнее и шире. Ибо только хладному в вере и малодушному все речённые только что обеты — в тягость. Но для духа, смиренного с произволением добрым с светлым “Иго... Мое благо, и бремя Моё легко есть”.

Тихо вдруг сделалось в храме. Только свечи потрескивают уютно да дровишки в буржуйке. Труба, ведущая сквозь асбестовую заплатку в раме, местами уже и прохудилась. Подсасывает маленько вкусный дымок, что толстыми синими пластами расплывается по всему храму. А тут и солнечный луч до окошка добрался. Выпрыгнул в храм сноровисто. Осветил и битый кирпич, и влажную штукатурку стен. Монахов зябнувших. Игумена мохнатого, точно шмель. Мужика в исподней рубахе подле него. И лишь затем озарился Спас Нерукотворный, Который от света этого словно и сам им исполнился. И отразил его, наполняя и храм, и стоящих в нём воинов Христовых неземной своей Благодатью. Светом нетварным.

— Отныне, возлюбленный брат, — сказал наконец отец-настоятель, — ты принимаешь усыновление от Господа и причислен к избранному воинству Христову. Вот был ты солдат. Присягу давал. Родине своей служил. И в службе этой даже претерпел смертельные ранения. Ныне тоже присягаешь. Но уже Царю Небесному, Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому тебе следует усилить подвиги, иметь доброе око ума и при воротах сердца поставить крепкую стражу — память смертную с сокрушением сердца, смирение с мечом духовным — молитвою Иисусовою. За это воинствование ты будешь спрошен Царем Небесным: верен ли был в исполнении воли Его, всё ли делал ради любви к Нему, со страхом ли Божиим и ради ли прославления имени Его Святого? Хочешь истинно спастись и быть со Христом в Царствии Небесном — последуй Христу и святым последователям Его, будь готов терпеть всё, оставь своё, хотя и благое, мудрование, не надейся на себя, со страхом и трепетом совершай путь свой по совету духовных отцов, объявляя им свои немощи и прося их молитв. Всегда смирайся, стараясь от сокрушённого сердца называть себя грешным и непотребным рабом. Понуждай себя к непрестанной молитве Иисусовой: ею прогоняются вражеские помыслы. Остерегайся праздности, стараясь добродетелями “светом миру быти”. Если так поступишь и этим благоугодишь Господу, то заслужишь похвалу и прославишься перед ангелами и человеками как верный воин Христов, и наследуешь Царствие Небесное со всеми святыми. Аминь.

Серафим уже ножницы на Евангелие кладёт. Близок постриг.

— Се, Христос невидимо zde предстоит: виждь, яко никтоже тя принуждает прийти к сему образу; виждь, яко ты от своего произволения хочещи обручение великаго ангельскаго образа, — произносит игумен.

Трижды вручает Сашка ножницы игумену, и тот только в последний раз принимает.

— Се, от руки Христовы приемлещи я; виждь, кому обещаваещися и к кому приступавши и кого отрицаещися зволения хочещи обручение великаго ангельскаго образа. — С этими словами игумен крестообразно стрижёт ему волосы.

Скрипят ножницы от грехов солдатских да без смазки хорошей. Улыбается отец-настоятель, обретая в воинстве монашеском нового бойца.

— Брат наш Киприан постригает власы главы своея, в знамение отрицания мира и всех яже в мире и во отвержение своея воли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа...

Имя новое отзывается в сердце жаркой волной. А вместе с тем открывается и промысел Божий, что связывает отныне грядущую монашескую жизнь с небесным покровителем Киприаном, Священномучеником Антиохийским. Божественная прозорливость, связавшая вдруг воедино и помыслы ничего не подозревающего игумена, и войну, искушения и грехи солдатские, падения,



и прозрение, и долгий путь в дикие эти края, в храм этот запущенный и холодный, под ножницы монашьяго пострига. Именем одним. В котором — вся его жизнь и судьба. Звезда и крест.

Игумен тем часом и доспехи монашеские уже подаёт. Власяницу — хитон вольныя нищеты и нестяжания. Парамант во обручение ангельскаго образа. Одежду веселия и радости духовныя — рясу. Пояс во умерщвление тела и обновление духа. Мантию — в ризу спасения и в броню правды. Шлем спасения и непостыднаго упования, во еже мощи ему стати противу всем кознем диавольским — куколь. Чётки нитяные — оружие монашеское, что хоть и в ладони умещается, да только силу имеет великую, — протягивает ему игумен со словами:

— Приими, брате Киприан, меч духовный, иже есть глагол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове, всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в сердца и во устех своих имети должен еси.

Крест и свеча — в правую руку, словно щит богатырский.

— Брат наш Киприан восприял еси обручение ангельскаго образа и оболкся есть во вся оружия Божия, во еже мощи ему победити всю силу и брани начал и властей, и миродержителей тьмы века сего... — выговаривает отец-настоятель торжественно и зычно, как генерал на параде.

Смотрит на инока Киприана, что стоит перед ним хоть и новобранцем, да всё же воином Христовым. И не трясёт его уже. И зубы не стучат. Согрелся. Ликом прояснился. Даже сияет слегка.

— Итак станьте, — гудит игумен, — препоясав чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

И вот солнечный луч, что едва-едва пробивался недавно сквозь пыльное оконце, вдруг вспыхнул, рассыпался золотой пылью, наполняя и храм, и души молящихся в нём людей ни с чем не сравнимым блаженством. Радостью беспричинной. Теплотой неизбывной. Будто в души людей после стужи и холода долгой зимы наконец вернулась весна...

Инок Киприан жмурился от этого света и от этой любви, точно младенец. Шурился и улыбался. Словно вновь он в сильных руках отца. И все живы. И будут вместе всегда. А впереди — жизнь вечная.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Мф. 6:6.

<sup>2</sup> 1 Фес. 5:17.

<sup>3</sup> Устрина — в Древнем Риме место для погребального костра.

<sup>4</sup> 1 Цар. 5:12.

<sup>5</sup> Пс. 117:17.

<sup>6</sup> Иов. 14:7–10.

<sup>7</sup> Таблиниум — кабинет хозяина (лат.).

<sup>8</sup> “О надлежащем” (др.-греч.) — трактат философа-стоика Панетия Родосского (ок. 185 до н. э. — 110 до н. э.).

<sup>9</sup> Трактат Филона (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) “О посольстве к Гаю” представляет собой первую часть более крупного труда “О добродетелях”.

<sup>10</sup> Матф. 4:8–11.

<sup>11</sup> Гарум (лат.) — рыбный соус в древнеримской кухне, популярный среди всех сословий.

<sup>12</sup> Раб рабов Божьих (лат.).

<sup>13</sup> Кубикула (лат.) — спальня.

<sup>14</sup> Иератические харты — сорт папируса шириной около 25 см. Использовался для изготовления особо ценных книг.

<sup>15</sup> Герметический свод (иначе — корпус) (лат.) — трактаты, излагающие греческие и египетские представления и суеврия в виде мистических, таинственных учений. Сочинение приписывается Гермесу Трисмегисту.

- <sup>16</sup> Дифтера – античный пергамент.
- <sup>17</sup> Аббревиатура от: Иисус Назарянин Царь Иудейский.
- <sup>18</sup> Изыди, Сатана! (лат.)
- <sup>19</sup> Мк. 10:47.
- <sup>20</sup> Дидахе (Учение Господа через двенадцать апостолов язычникам) – наиболее ранний из известных (конец I века – начало II века) памятников христианской письменности катехизического характера; также памятник церковного права и христианского богослужения.
- <sup>21</sup> Назир – “посвященный Богу”. В иудаизме – человек, принявший обет (определённые ограничения на какой-либо оговоренной срок по законам Торы). В русской традиции – назорей.
- <sup>22</sup> Кувшин (лат.). От латинского *congius* – мера объёма, равная 3, 283 литра.
- <sup>23</sup> Пс. 30:1–5.
- <sup>24</sup> Пс. 30:6–12.
- <sup>25</sup> Пс. 31:8.
- <sup>26</sup> Сир. 7:39.
- <sup>27</sup> Исаия 1:18.
- <sup>28</sup> Клариссим – от *Vir clarissimus* (лат.) – светлейший муж. Высший на ту пору в империи сенаторский титул.
- <sup>29</sup> Что б ни таил, шепни-ка мне на ухо, –  
Тебя не выдам. О злополучный мой,  
В какой мятешься ты Харибде,  
Юноша, лучшей любви достойный!  
Какой ведун иль ведьма Фессалии  
Тебя изымет зельями? Бог какой?  
Триликой сжатого Химерой,  
Вряд ли тебя и Пегас исторгнет!  
(Перевод с латыни Г. Ф. Церетели.)
- <sup>30</sup> 2 Кор 4:17.
- <sup>31</sup> Попина (от лат. *popina*) – таверна, кабак.
- <sup>32</sup> Невиновен я в крови Праведника Сего (Мф. 27:24).
- <sup>33</sup> Дан. 9:27.
- <sup>34</sup> Запри дверь, погаси свет.  
Ты знаешь: этой ночью их не будет дома.  
Снег валит с неба, и тебе ль не знать,  
Как холодны ветры Тора.  
Они облачены в сверкающую, честную сталь,  
Они несут очень важную весть,  
Они выбрали путь, которым не ходит никто –  
Они не знают пощады.  
Они не знают пощады.  
(*Led Zeppelin*, композиция *No Quarter* из альбома *Houses of the Holy*. Перевод с англ. И. Кормильцева.)
- <sup>35</sup> Они идут рука об руку со смертью,  
Дьявол смеётся над каждым их шагом.  
Ноги вязнут в снегу, и это замедляет их движенье.  
Всё ближе и ближе вой псов судьбы.  
Они несут очень важную весть,  
Чтобы сделать явью наши сны,  
Они выбрали путь, которым не ходит никто.  
Они не знают пощады.  
Они не просят пощады.  
Они не знают пощады.  
Они не просят пощады.  
(*No Quarter*, пер. И. Кормильцева.)
- <sup>36</sup> Иов 2:6.
- <sup>37</sup> От лат. *speculator* – разведчик; так называли солдат-преторианцев, занимавшихся внешней и внутренней разведкой; они же предназначались для исполнения наказаний и казней.
- <sup>38</sup> Пс. 39:2.
- <sup>39</sup> Исаия 12:2.

<sup>40</sup> Пс. 3:4.

<sup>41</sup> Никомедия – древний город в Малой Азии, центр области Вифиния, на подступах к Константинополю, на берегу Мраморного моря; ныне Измит, Турция.

<sup>42</sup> В 293 году Диоклетиан счёл, что двух императоров для борьбы с внешними врагами Рима недостаточно. Потому он утвердил тетрархию: наряду с Диоклетианом и Максимианом Геркулием, носившими сан Августа, империей правили ещё два цезаря: Гай Галерий Максимиан и Констанций Хлор.

<sup>43</sup> Мф. 26:29.

<sup>44</sup> 1 куллей (culleus) = 0,525 м, т. е. 10 куллей = 5,250 м.

<sup>45</sup> 1 Фес. 5:18.

<sup>46</sup> От лат. *cubitus* (локоть) – мера длины, равная 44,4 см.

<sup>47</sup> Казнить тебя уже давно следовало бы по приказанию консула, против тебя самого обратить губительный удар, который ты против всех нас уже давно подготавлиешь... Я понимаю, что, казнив только одного, можно на некоторое время ослабить эту моровую болезнь в государстве, но навсегда уничтожить её нельзя (лат.).

<sup>48</sup> Но теперь отчизна, наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не помышляешь ни о чём другом, кроме отцеубийства. И ты не сложишься перед её решением, не подчинишься её приговору, не испугаешься её могущества? (лат.)

<sup>49</sup> Какой бы способ наказания вы ни избрали, вы должны быстро покарать преступников (лат.).

<sup>50</sup> Спата (от лат. *spatha*) – кавалерийский прямой обоюдоострый меч, достигающий метровой длины и весивший около двух килограммов.

<sup>51</sup> Пс. 16:8.

<sup>52</sup> Откр. 21:6.

<sup>53</sup> Откр. 4:8.

<sup>54</sup> Откр. 4:11.

<sup>55</sup> Откр. 5:6-14.